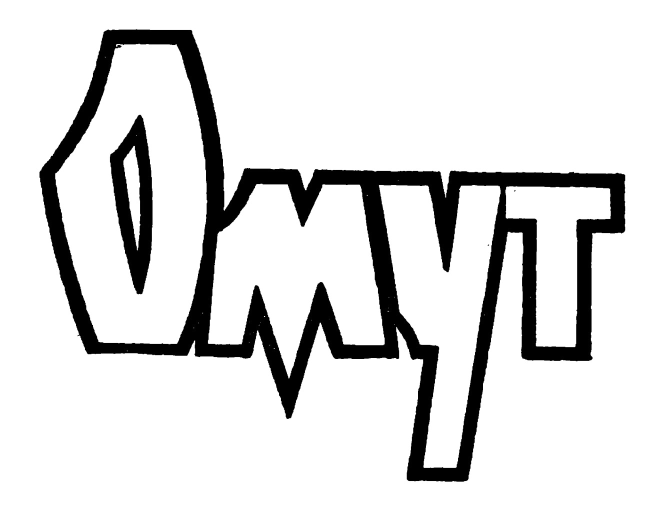
Ю. ПОЛУХИН



Ю. ПОЛУХИН



издательство
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1961

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Подчас поиски ответа на неизбежный для каждого вопрос: «Как жить?» — бывают трудными, а то и путаными. Но наше время хорошо и тем, что почти всегда они, эти поиски, коллективны. В пионерском лагере, школе, цехе завода или бригаде каждый из нас постоянно чувствует локоть товарищей, их требовательную и чуткую заинтересованность в твоем отношении к жизни. И если ты ошибешься, то коллектив сможет найти верный выход из любого, пусть самого сложного положения. Поэтому неудивительно, что советская молодежь растет здоровой, убежденной в правоте самого великого счастья на земле — счастья быть непосредственным участником строительства коммунизма.

Но иногда случается, что под влиянием переживаний, болезни, какого-либо потрясения юноша или девушка начинает отдаляться от коллектива, уходит в себя. И вот здесь нередко выступают вперед церковники, сектанты, страшные своим лицемерным растлевающим влиянием на людей. Воспользовавшись слабостью человека, они постепенно отравляют его сознание, сковывают волю, «учат жить» по-своему.

Судьбе комсомолки Нины, попавшей в секту «пятидесятников», посвящена эта повесть Юрия Полухина.

1

Поезд четвертый день, спотыкаясь об остановки, хлопотливо перебирал четки дорожных стыков. Верхнюю полку над Ниной занимал мордастый парень, который по ночам храпел, а днем почти непрерывно и громко разговаривал. Все рассказы его сводились к одному.

— Сибирь? Да что вы мне говорите! — кричал он. — Русский народ — великий народ? Великий! И Сибирь такая же, по Сеньке и шапка. На Западе что? Там сейчас шагнуть, плюнуть некуда, на притыке живут — в моральном смысле, конечно. Не живут — ютятся. А русскому человеку размах нужен, ширь! Без размаха русский человек завянет. Потому и едут сейчас люди в Сибирь. Село от села на триста верст — глухоманища! А мы там все перекопаем! Построим комбинат, каких в Москве и во сне не видели. А что дальше будет? О-о-о! — Парень на секунду замолкал, взволнованно приглаживал ладонью волосы, светлые, ежиком, и добавлял шепотом, словно о тайном, но уже достоверно известном сведущим людям: — Лет через пятнадцать-двадцать столица наверняка из Москвы в Иркутск переедет. А что вы

думаете? Туда центр промышленности, центр всего сдвинется!..

Вагон был общий, новые пассажиры появлялись в нем чуть не на каждой станции, и почти любому соседу этот парень доказывал одно и то же. Звали его Василием, он окончил техникум, работал на большой стройке в Иркутской области и был, видать, добродушнейшим человеком. Но Нине Василий был почему-то неприятен. Ей вообще все люди казались сейчас ненастоящими, похожими на заводные игрушки уже потому только, что они двигались, говорили, смеялись, ели. Зачем? Зачем все они вокруг нее? Жизнь остановилась.

А поезд идет и идет, за окнами мелькают желтые равнины полей, обугленные стволы лесной гари, вывороченные пни с костлявыми руками-корневищами, зеленоватые донца-глаза болот, хмурые ели с бородами из белесого мха. Сибирь. Та Сибирь о которой говорит Василий... Моросит дождь. На проводах вдоль железной дороги сидят мокрые пузатые вороны. Ленивые. Наверно, объелись выброшенными из окон поездов остатками еды. Неуютно и дико кругом — и эти вороны и скрюченные пни; и музыка маршей, которые, не переставая, плясали под потолком вагона, казалась бесноватой, насмешливой.

Первым, что Нина плачет, заметил Василий. Чудная девчонка! Всю дорогу просидела вот так: молча облокотившись на столик, щеки — в ладонях. Вот так же глаза ее смотрели в окно. Но сейчас Василий увидел в них боль, увидел: слезы-горошины катятся с ресниц по тонким пальцам.

— Что с вами, девушка? — спросил он испуганно.

— Ничего, ничего. Все прошло, все прошло, — Нина торопливо вытерла щеки ладошками.

— Ну, как же так ничего? Или горе какое? — Он помолчал. — Или в Сибирь боитесь ехать?

— Ах, отстаньте вы! — в голосе ее была злость. Встала и, шагая через чьи-то чемоданы, задевая головой ноги лежавших на верхних полках, быстро пошла к тамбуру.

— Норовистая девка! — сказал позади нее басом, упирая на «о», бородатый мужичонка в сером, подпоясанном бечевкой плаще.

В тамбуре, прислонясь грудью к пруту дверной решетки, Нина опять заплакала облегченно, радуясь тому, что, наконец, осталась одна и не надо сдерживать себя, слушать пустые расспросы. И снова всплыл перед глазами тот солнечный день и мама...

Она лежала совсем такая же, как обычно. Только лоб был бледным-бледным, и волосы вокруг него без единой сединки казались неестественно черными. Тонкий с горбинкой нос. Складка под подбородком, от нее лицо приобретало чуть властное, суровое выражение. Спокойно скрестились на груди руки, натруженные, в мелкой сетке морщинок.

Гроб с ее телом несколько раз уже порывались куда-то нести, но Нина припадала губами к этим рукам и говорила, говорила одни и те же слова:

— Мама, мамочка, милая! Ну, улыбнись, улыбнись в последний разочек, разо-очек!..

Как хоронили мать, она не знала. Когда Нину привели в чувство, все уже было кончено. Близ узенькой грязной тропки, на которой осталось множество нелепо больших чужих следов, высился желтый холмик сырого песка. Шумела над ним ветвями береза.

Потом была комната, где они жили вдвоем. Комната показалась ей пустой и страшной. Соседка Софья Николаевна увела Нину к себе, приходил еще кто-то, и все говорили с ней, читали телеграмму от тетки, которая жила в Красноярском крае и звала племянницу к себе, но Нина ничего не понимала, не слышала. Перед глазами у нее стояло лицо матери, бледное, строгое, с иссиня-черными волосами, и хотелось опять закричать криком: «Мама, мамочка!..»

Нина кусала до крови губы и молчала.

Так было все две недели, пока соседи распродавали их вещи, доставали билет, пока поезд вез ее в Сибирь. Неотступно мучила Нину мысль: «Зачем,

за что все это? Зачем жизнь, если она так вдруг может оборваться? Остановится сердце, и все... Мама всегда мечтала: вырастет Нина, станет помощницей, и тогда она отдохнет. Шестнадцать лет без мужа, работала уборщицей, стирала на соседей, лишь бы была сыта ее Нина, лишь бы училась, и вот все оборвалось... Зачем же так? За что такая жизнь?..»

Приходили и другие мысли, казавшиеся ненужными, мелкими: о том, как она будет жить одна, что за человек ее тетка, которую Нина видела лишь однажды в детстве, о том, что уже осень, а зимнего пальто нет, что сейчас она почему-то никак не может представить себе лицо Степана. Вспомнилось: однажды она достала из ящика стола фотографию Степана, на ней он улыбался, и улыбка его была ей тогда неприятна. Нина быстро спрятала карточку. Подумала: через год Степан вернется из армии — до сих пор она часто мечтала об этом, — придет в их с мамой дом, и вслух перебила себя:

— Ах, не все ли равно!..

Был Степан стеснителен до суровости, и тем, кто знал его плохо, казался замкнутым, молчаливым. Будто скрывал нарочно свою ласковость, доброту. Может быть, именно за это Нина и полюбила его. Но, правда, если в чем-либо Степан бывал уверен, то становился настойчивым до упрямства. Они ссорились иногда.

И опять она думала: при чем тут Степан?

Эти мысли проходили, вскользь задевая ее сознание; лишь все тот же неотступный вопрос молоточком больно стучал в голове: «За что?.. За что?..»

Поезд шел, раскачиваясь на ходу, плечи Нины вздрагивали, прут оконной решетки больно упирался в грудь, но Нина не замечала этой боли: она плакала, плакала, прижимаясь всем телом к окну.

Дождь притих. Сквозь разрыв между синими тучами упал на землю луч солнца, одинокий, сверкающий, заиграл бисером в мокрой траве близ насыпи

и дальше — в ветках ельника. Нина вспомнила: тогда тоже было солнце. Было тихо-тихо, с березы осыпались на песчаный холмик желтые треугольнички листьев. Кто-то сказал, что в такой день жить бы да жить. А до этого Софья Николаевна, глядя на маму, все время твердила: «Ах, какая хорошая она! Ну, прямо невеста!.. Жить бы да жить!..»

Колеса поезда на свой веселый лад стучали эти слова, будто подсмеивались над Ниной: «Жить-бы-да-жить», «Жить-бы-да-жить...» Хлопнула дверь, Нина испуганно выпрямилась. Нет, нельзя, нельзя плакать.

Кто-то вышел в тамбур — Нина не оборачивалась, — потоптался на месте. Опять хлопнула дверь. Ушел...

Она почти ненавидела этих людей, которые ехали там, в вагоне, и на каждой станции выбегали покупать жареных кур, яйца, соленые огурцы, бруснику в пакетиках из книжных листочков, ели, смеялись, рассуждали о каких-то стройках, древесине, руде.

...В Ачинске Нине надо было делать пересадку на другой поезд. Василий вынес на перрон ее чемодан — она позволила ему это — и сказал негромко, с укоризной:

— Куда вы такая одна едете!.. Плюньте на шахты, поехали к нам на стройку, — и добавил с обычной своей бодростью: — Ох, и парни там у нас — во! — Он развел руками, растопырил пальцы, показывая, какие могучие плечи у этих парней.

Нина ничего не ответила ему, только взглянула с неприязнью в его голубые, брызжущие весельем глаза, взглянула так, будто ударила по щеке.

Он долго смотрел ей вслед, потирая ладонью небритую, в рыжей щетине скулу: в тонком темно-синем пальто, голову с крутым пучком черных волос — не по моде прическа — несет прямо и шагает легко. В руке — небольшой чемодан, который согнул слегка ее плотную фигуру набок.

— Чудная девчонка!.. И красавица! — проговорил удивленно Василий и шагнул сразу через две ступеньки в вагон.

2

Уже десятый день Нина живет у тетки.

Старый-престарый дом, посредине — громадная русская печь. С одной стороны к ней примыкает тесовая перегородка, с другой — широкий темный проход, в котором от углов печи к бревенчатой стене протянуты ситцевые занавески — мелкие синие цветочки по белому фону. Цветочки эти похожи на чернильные запятые, ситец пожелтел от времени, но в доме он выглядит нарядней всего. Ни на столе, ни на квадратном комоде, ни на голых стенах никаких украшений. Нет даже обычных для сибирской избы домотканых половиков. Широкие доски пола когда-то давным-давно были выкрашены, но сейчас посредине комнат они выскоблены до белизны, краска осталась лишь в углах, куда свет из маленьких оконцев почти не проникает. Вдоль стен расставлены приземистые, добротно срубленные лавки.

Дом и пугал Нину и нравился ей. Пугал своей сумрачностью, неподвижностью. В прежней, их с мамой, комнатке салфетки на столе и у зеркала, стулья круглые, с выгнутыми спинками, поцарапанный, рассохшийся шкаф — каждая вещь говорила с Ниной на своем языке: одна — весело, другая — ворчливо. В теткином доме все молчало, всегда молчало. И когда Нина в проходе за ситцевыми занавесками случайно задевала ведра с водой, стоявшие здесь на лавке, и они глухо бряцали, звук этот каждый раз казался ей неожиданным, тревожным.

Но комнаты были просторны, чисты, это нравилось Нине.

По утрам, когда муж тетки, дядя Андрон, уходил на работу, Нина мыла посуду после завтрака, ставила ее горками на полку, прибитую к стене в правом от двери углу кухни, и подметала комнаты. Веник ходил по гладким половицам легко и весело.

Тетка в это время в сарае задавала корм поросятам и курам. Слышно было, как звучит ее глуховатый голос:

— Ти-ти-ти-ти!.. Ти-ти-ти-ти!..

Детей у нее с мужем не было, и они встретили Нину приветливо, особенно дядя Андрон. Это был среднего роста человек, толстый, стриженный наголо, с круглым бабьим лицом, которому как-то не шла черная, застегнутая наглухо косоворотка.

Нина запомнила первый вечер в теткином доме.

— Ну, вот и ладно! Вот и ладно! — Дядя Андрон суетливо помог Нине раздеться, забрал у нее чемодан и поставил у двери. — Будешь с нами жить, будешь дочкой у нас. И нам лучше: выходит, и нам покойница наследие оставила.

Дядя Андрон часто моргал маленькими глазками и то и дело быстро оглаживал себя по бокам пухлыми руками. Мария Антоновна взглянула на него строго, и он осекся на полуслове, притих, по-детски обиженно выпятив губы.

— Бог дал, бог и взял, — вздохнув, серьезно сказала тетка и стала собирать на стол, изредка сбоку и как бы испытующе поглядывая на племянницу. — Житье у нас не столичное, да оно и лучше, без баловства-то. Поживи, погляди, все-таки не чужой ломоть есть будешь.

Больше за весь вечер она почти ничего не сказала. Молча подвинула Нине тарелку с супом, молча зажгла керосиновую лампу, подвешенную над столом, так же молча постелила Нине постель тут же, в кухне, на сундучке.

Лампу погасила часов в десять, предупредив:

— Ложимся мы рано, привыкай... С устатку-то быстро заснешь.

— Покойной ночи, — ответила Нина.

Тетка промолчала.

По всему судя, верховодила в доме она. Когда Нина оставалась наедине с дядей Андроном, он рассказывал ей что-то про золотоносные шахты, в которых он, как и большинство жителей городка, работал, про старых старателей — бергалов, про их приключения. Но, если в это время входила в избу тетка, тут же замолкал, минуты две еще смешно шевеля губами, словно продолжал говорить про себя.

Потом вздыхал тяжело и шел во двор делать что-либо по хозяйству.

Нина почти не слушала его рассказы. Ей все хотелось забиться куда-нибудь в угол, молчать, молчать, думать. О чем? Она и сама не знала. Она вообще умела и любила молчать так же, как и ее мать, и, видно, так же, как и тетка. Сядет у окна, голову положит на руки и вспоминает, почти всегда о том, как они жили с мамой: как ходили вместе в магазин, как рассказывали друг другу по вечерам обо всем случившемся за день, как потом, в постели, она ставила маме на поясницу горчичники — ее постоянно мучила невралгия, — как спали рядом, подогнув в одну сторону колени. От этих мыслей ей становилось легче, теплее и хотелось плакать. Но она сдерживала себя, и не потому, что стыдилась тетки и дядя Андрона, — ей все казалось, что слезы эти, о маме, никто не должен видеть.

Нина совсем не думала о Москве, школе, подругах. По совести говоря, она не особенно-то и любила Москву: сутолока, шум улиц раздражали ее. Куда приятней было сидеть дома с книгой или бродить по лесу, у реки, благо река там, в Филях, была совсем рядом с их поселком. Да и вообще тихое, будничное всегда было для Нины приятнее праздничного, яркого. Именно поэтому, наверно, у нее никогда не было и близких подруг. Ей казалось, что все девочки в школе считают ее скрытной и скучной, дружить им с ней неинтересно, а раз так — навязываться кому-то она не станет. Вот Степан, он понимал ее. Целыми днями они были вместе. Правда, потом, когда Степан кончил десять классов и пошел работать на завод, они стали видеться реже: то у нее занятия, то он в вечерней смене, то еще что-нибудь. Но тем радостнее были встречи.

Два года назад Степан ушел служить в армию.

Однажды она вспомнила тот последний свой вечер с ним. И вспомнила, как рассказывала ему: она будет жить одна долго-долго, сто лет, на берегу моря. Там волны, песок, голые хмурые камни. Будет встречать солнце, когда оно встанет над морем, яркое

и одинокое, и каждое утро собирать в лугах крупные синие цветы и ставить их на окно. И будет ждать чего-то, ждать... И ни чуточки не станет стареть.

И вот весной к берегу рядом с ее домом пристанет корабль с белыми-белыми парусами. С него сойдет принц, красивый, со сверкающей, как море, улыбкой. Он узнает Нину по тому букету цветов, который увидит в окне, и возьмет ее с собой, повезет далеко-далеко, туда, где необыкновенные страны, где все время утро и солнце, где на берегах растут зеленые длиннолистные деревья, а в море — причудливые красные водоросли...

Она кончила рассказывать и спросила:

— Сейчас скажешь, глупая я, сентиментальная, да? А я и сама знаю.

Но Степан ответил серьезно, как он говорил обо всем:

— Приду из армии, мы женимся, будем работать, а через год поедем на Кавказ, в те самые страны...

Она вспомнила это и опять ясно представила себе: синее-синее море, корабль с белыми парусами, песчаный берег и столько солнца кругом, что хочется крепко зажмурить глаза.

Нина вдруг, охнув, подумала: «Ведь я до сих пор ни о чем не писала Степану! Как же это я?..»

Письмо получилось короткое и сухое. Почему-то она не стала сообщать в нем домашний адрес, а велела присылать ответ до востребования. Уже потом, когда опускала конверт в ящик, догадалась: она боится тетки.

Странный человек была Мария Антоновна. Казалось, будто все время ее мучил один и тот же тяжелый, неразрешимый вопрос. Она постоянно что-то делала, неторопливо и споро, но иногда вдруг останавливалась с тряпкой или ведром в руках, поджимала крепко сухие губы, глаза ее, черные, глубокие, округлялись и делались страшными в своей неподвижности. Тетка стояла так минуты две, болезненно морща лоб и не замечая, что держит ведро, полное воды; можно было окликнуть ее, и она не услышала бы. Потом она, вздрогнув, чуть заметно и недобро

усмехалась и опять спокойно и не торопясь продолжала готовить обед, хлебово скотине, шла по воду или в магазин. На ней было, кажется, постоянно одно и то же платье, темно-синее, с длинными рукавами, без всяких украшений, и черный платок, повязанный низко на лоб. Эта одежда придавала еще больше суровости ее и без того строгому, худому, в резких морщинах лицу.

По вечерам тетка и дядя Андрон часто уходили куда-то. Причем всегда впереди шла Мария Антоновна, прямая, словно закаменевшая, а за ней смешно семенил короткими ногами дядя Андрон.

Потом Нина узнала, что они ходят в какой-то молитвенный дом: и тетка и ее муж верили в бога, причем не в обычного, которого рисуют на иконах, а в особенного, своего. Они называли себя «пятидесятниками».

Однажды Нина спросила у дяди, что это значит. Не улыбаясь, серьезно он стал рассказывать про древних евреев, которые бежали из Египта и перед ними расступилось море: они голодали и мучились от жажды в пустыне, кусали их змеи, и вот на пятидесятый день странствий их вождю Моисею явился бог, «Сущий», и сказал ему законы, по которым они должны жить отныне. И если будут жить они так, то станут «уделом из всех народов» — святым народом. Бог повелел записать эти законы. С тех пор и появилось у верующих священное писание.

— Потому и называемся мы «пятидесятниками», — уперев руки в колени, как-то невыразительно, словно заученный урок, бубнил дядя, — что только у нас вера истинная в те законы, которые дал сам бог. — Он произнес это слово, округлив глаза. — А потом пошли всякие попы, наврали всего, уклонились в общем. Вот...

В его рассказе Нина не все поняла, да и чудно ей было слушать какие-то сказки от взрослого человека, и она подумала: «Ребенок он, дядя Андрон. Будто в игрушки играет...» Спросила:

— Дядя, а как же иконы? Тоже уклонились?

— Богохульство все это, тьфу! — Дядя Андрон хо-

тел, видно, сплюнуть гневно, но получилось так, словно он смахивал нитку с толстых влажных губ. — Бога надо в себе носить, а не малевать его на стенах. Кто его видел? Кто его нарисовать может?

— Никто, — задумавшись уже о чем-то своем, грустно ответила Нина.

— Ну вот то-то и оно-то, — довольный, подтвердил дядя. — Рисуют бога с себя, стало быть, хотят поравняться с ним. Богохульство все это. Вот если бы...

Дядя не договорил: глухо стукнула тяжелая, обитая войлоком дверь, и в избу вошла тетка. Он вдруг засуетился, огляделся вокруг и сказал:

— Пойду я, посиди тут. Закуток поросята разворочали, — и вышел.

Тетка села на лавку и молча стала штопать свой фартук. Мимо нее сквозь чистые стекла окна падали косые лучи солнца и стояли неподвижными радужными пятнами на выскобленном полу.

Редко в эти дни светило солнце. А то все дожди, дожди...

В первый раз Нина подумала: «Как скучно, тяжело у них!» — и опять вспомнила маму. В груди привычно и томительно сдавило что-то, она встала и, шагая быстро, вышла на улицу.

Вдалеке высились громадные деревянные башни неправильной формы, с дощатыми шапками — там были шахты. От них через весь город низко над домами были протянуты тросы подвесной дороги; по ним медленно ползли, поскрипывая, вагонетки с рудой.

А еще дальше подымались сопки. Они были ржавого цвета, без единого деревца. Говорили, что весь лес свели для шахт — на топливо для электростанции и на подземные крепления.

Камни в вагонетках, серые, неподвижные, тоже были скучные, и никак не думалось, что в них может быть золото.

Нина шла по дощатым мосткам. Улица тяжело подымалась в гору. Посреди мостовой, когда-то вымощенной камнями, разбитой, рядом с лужей прыга-

ла красивая птичка, длиннохвостая, с серой грудкой. Нине почему-то стало жалко ее.

Ручей вдоль тротуара. Веснушчатый пацан в отцовской кепке со сломанным козырьком пускает кораблик. Добротное днище кораблика вырезано из толстой сосновой коры, три выстроганные палки воткнуты в него, а на них белые бумажные паруса. Кораблик тычется носом в комки грязи и вдруг перевертывается, паруса намокают, мгновенно никнут. Пацан, скинув калоши, надетые на босу ногу, лезет в лужу спасать игрушку, шепчет, наморщив нос:

— Зараза!

Нина усмехнулась про себя: «Принц!»

Солнце ушло за сопки и, снизу осветив облака, окрасило их в ровный багровый цвет. Камни в вагонетках стали почти черными.

Нина подумала, что хорошо бы пойти работать. На шахты? Они пугали ее. Больше в городе ничего не было. Он и существовал только ради них.

Уехать? Но куда? Везде она будет одна. Да и денег у нее нет: все, что осталось от проданных в Москве вещей, она отдала тетке. Спросить эти деньги неудобно. Приютили ее, кормят, а она вдруг уедет.

Нет, надо привыкать. Ведь живут же люди!..

Мимо прошли, смеясь чему-то, трое парней в брезентовых костюмах и смятых железных касках. За ними — толстая женщина с двумя тяжело нагруженными сумками. На ней были грязные сапоги, которые громко стучали по мосткам.

И опять, как тогда, в вагоне поезда, Нине пришла мысль, поразившая ее своей простотой: есть люди родные, близкие, а все остальные — чужие; и если нет родных, не осталось, то ты — одна, никому не нужна, хоть рви на голове волосы, все равно никому не нужна. Может быть, и посочувствует кто-нибудь, даже поможет, но ведь все это не то... Никто никогда не сделает так хорошо, как человек близкий. Нина вспомнила про тетку и впервые подумала о ней с нахлынувшей вдруг теплотой, даже с нежностью: «Она же хорошая! Только внешне такая... Она же любит меня, любит...»



Нина повернула назад и быстро пошла, почти побежала домой.

Тетка все так же сидела у окна за штопкой.

— Тетя, — стоя у двери, проговорила Нина и замолчала.

Та удивленно подняла голову.

— Тетя, — повторила Нина. Она хотела сказать что-то необыкновенно ласковое, но неожиданно для себя спросила будничным тоном: — Зачем же вы глаза портите при таком свете? Я бы заштопала.

И опять в груди ее что-то томительно и тоскливо сжалось. Нина шагнула вперед и вдруг припала, разрыдавшись, к коленям тетки.

Она плакала громко и долго и никак не могла успокоиться, но это были уже слезы благодарные, добрые. А Мария Антоновна гладила ее по голове сухой рукой и говорила, словно угадывая мысли племянницы:

— Ну, будет, будет... Ничем не помочь теперь... Привыкнешь у нас, ведь не чужие мы тебе, любим тебя... Ну, будет... Сейчас успокоишься, соберем ужин, а там и спать. Выспишься, и все пройдет, все пройдет...

И от того, что она говорила так, будто уговаривала не плакать о какой-нибудь маленькой болячке: «Выспишься, и все пройдет...» — от этого тоже становилось легче.

— Хорошая вы, тетя Мария, хоро-шая, — повторяла сквозь слезы Нина. — Спасибо вам, спа-си-бо...

Потом они долго сидели обнявшись. Нина все всхлипывала иногда, зарывшись головой в теткины колени, а Мария Антоновна молча гладила рукой ее волосы.

3

Часто приходил к ним домой сутулый, сухонький и крепкий старичок, которого тетка и дядя Андрон называли братом Родионом. Фамилия его была, как впоследствии узнала Нина, Курбатов, а полное имя — Родион Алексеевич. Впервые она увидела его на

следующее утро после своего приезда. Он вошел в избу без стука, как входит хозяин, и остановился у двери, с любопытством глядя на Нину, прибиравшую постель на сундучке.

— Новый зверек появился, юркий, печальный, — ласково проговорил он. — А где же Мария?

— Здесь я, здесь, — с необычной живостью ответила тетка и вышла на кухню.

Они поздоровались. В ответ на быстрый вопросительный взгляд гостя тетка объяснила:

— Племянница приехала вечером, сирота. Поэтому и не смогли вчера быть.

— Божье дело, божье—сироту приютить. Говорила ты мне про нее, помню, — сказал он и неторопливо прошел к окну, встал спиной к свету. Глаза его под седыми редкими бровями быстро ощупали кухню, отметили, остановившись на мгновение, чемоданы Нины в углу, пальтецо, висевшее на гвозде у двери, и замерли ненадолго на ней самой, ласковые и настороженные. Он погладил мягким обволакивающим движением руки лысый свой череп и заговорил опять:

— А жаль, что не были, жаль... Письмо опять читали...

— Неужто от него? — испуганно спросила тетка.

— От него, от посланника божьего, — говорил Курбатов, не торопясь; слова словно складывались одно к другому. — Ох, сестра Мария, наступило время последнего призыва, скоро, чувствует мое сердце, придет он к нам, придет!

Курбатов, ступая тихонько, прошел за ситцевую занавеску, в горницу. Тетка — за ним.

— А что же в письме-то? — спросила она там.

«Какой липкий старичонка! — подумала Нина. — «Посланник божий...» Что это он говорит?»

Против воли стала прислушиваться к разговору за занавеской.

— А потому я так думаю, — лился голос Курбатова, — что пишет он, например: «Строящий дом, не надейся жить в нем, потому что все должны идти на страдание за Христа. А если будут хорошие дома, то жалко будет с ними расставаться...» Видишь, каяться



нам надо, молиться! Скоро суд божий грянет! Дом не обрушится, а он уже придет...

Тетка охнула глухо.

Потом старик рассказывал, что мучат посланника этого каленым железом и еще чем-то и так, в неволе, он уже двадцать пятый год.

— За весь верующий народ принимает он страдания, за нас, грешных...

Старик говорил строго, чуть дрожавшим голосом, и было в этом голосе что-то волнующее, таинственное. Потом странный гость вдруг воскликнул:

— Молись, Мария, кайся в грехах своих! Неусыпно будь в боге!

Тетка опять глухо и испуганно охнула.

Нине стало не по себе, она вышла во двор. Моросил дождь, чуть слышно шлепая каплями о почернелую дощатую кровлю сарая.

Какой посланник? От каких властей терпит он? Что все это значит?.. Ерунда какая-то! А впрочем, ей-то какое дело до всего этого? Верит тетка, ну и пусть верит... Кто — о стройках, кто — о боге, и никому не интересно ее, Нинино. А ей не интересны, не нужны все они. Минуту спустя Нина уже не думала всерьез о Курбатове и его рассказе. Подставив ладошку ласковым каплям, падавшим с крыши, вспоминала свое.

Но Курбатов стал приходить к тетке все чаще, и один вид этого старика всегда вызывал у Нины впечатление чего-то вкрадчивого и гнетущего; впрочем, оно проходило, как только Родион Алексеевич усаживался, по своему обыкновению, на краешке стула и

начинал рассказывать или читать что-нибудь не спеша, покойно, — больше ни разу при Нине он не говорил ни о чем страшном, а так все — о божественном и непонятном.

Несколько раз Курбатов даже просил девушку:

— Уважь старика, почитай-ка слово божье нам. А то свет плохой, а глаза уж не те стали.

Керосиновая лампа — тетка почему-то не хотела проводить себе электричество — и правда часто коптила, горела тускло. Мария Антоновна строгим взглядом подтверждала просьбу гостя, и Нина послушно брала в руки толстую ветхую книгу.

Обычно на такие чтения собиралось у тетки еще несколько женщин. В темных платьях, все они были какие-то на одно лицо. Нина никак не могла различить их. Округлые и смиренные, они сидели, одинаково положив руки на колени, прямо и тихо. Только соседка тетки — сестра Вера, как они ее называли, женщина еще молодая и бойкая — часто задавала Курбатову вопросы, и он терпеливо отвечал на них. Это терпение даже удивляло Нину: к другим Родион Алексеевич относился хотя и не без ласковости, но строго.

Однажды Вера сказала задумчиво:

— Видела я утром Почтарева, секретаря горкома, на нем тоже, как и на наших, черная косоворотка и ремнем подпоясана.

Курбатов взглянул на нее искоса и продолжал что-то рассказывать, но Вера опять перебила его:

— Очень даже похоже... А я часто думаю: как же, мол, так? У коммунистов годичный срок для вступления — и у нас тоже. У них поручители должны быть, и у нас. Кто же с кого пример взял? И вот даже одежда одинаковая стала.

Нина — она уже укладывалась спать, — сдерживая смех, прыснула тихонько в одеяло. Курбатов замолчал, а тетка Мария сказала вдруг гневно:

— Вера, что ты говоришь? Грех думать так, грех! Святости в тебе нет!

Но та не унималась.

— А Вася мой спросил сегодня: «Что же это, — говорит, — раньше мужики ваши рубахи навыпуск носили, а теперь под ремень? Или постановление такое от бога вышло?»

— Богохульник твой Василий, — повысив голос, ответил Курбатов, — и тебя дьяволом смущает. Ах, бойся, сестра, упадешь, накажет тебя всевышний!

Слышно было, как Вера вздохнула тяжело и проговорила негромко, скороговоркой, как говорят привычное:

— Ох, господи! Дай силы не обращать внимания на мир...

А когда уходили они, Курбатов хотел было подать Вере пальто, но та как-то чересчур уж насмешливо отстранила его, сказав:

— Не к лицу тебе, Родион Алексеевич, ухажерить-то, не по чину.

Он смолчал и потом заговорил опять о божественном.

Нина слушала их, и ей все казалось: так, скуки ради забавляются взрослые люди, слушают какие-то сказки об апостолах, пророках, мучениках, которые заставляют ходить хромых от рождения, лечат юродивых, проходят по морю, «яко по суху», и творят еще множество всяких чудес. Истории эти иногда были забавны и развлекали ее, как развлекает любая сказка.

Но где-то в глубине души она чувствовала, что эти приключения божьих людей — внешняя оболочка, под которой скрывается что-то важное и непонятное ей. «Именно это тайное, — думала она, — должно быть, и объединяет таких разных людей, как тетка, Вера, Родион Алексеевич». От этих мыслей подымалось такое же чувство, какое часто бывало в детстве, когда она, маленькая босоногая девчонка, уходила одна, без мамы, в лес, что тянулся вдоль Москвы-реки, и шла, шла без тропок сквозь кусты, подымая ветки руками, а лес раздвигался, манил вглубь, шуршала трава под ногами, попадались на пути то громадный трухлявый пень, то толстенный дуб в коре,

иссеченной глубокими морщинами-ранами, то черная, сухая, скрюченная черемуха. И все казалось: если пойти еще дальше, то можно увидеть в лесу такое, что никто никогда не видел. Становилось немного жутко, и сердце билось неровно и часто.

Конечно, здесь было иное.

Нина в этом году окончила десять классов, знала — ее учили этому, — что никаких чудес не бывает, все, что на первый взгляд кажется странным, вполне объяснимо наукой, знала, что такое Галактика, и звезды, и радуга. Но ведь все это было в книгах и там, далеко, в Москве — там и жизнь-то другая! А тут перед ней жили взрослые люди со своими особыми законами и обычаями, никогда не виданными ею. И временами казалось Нине, что тот мир, с большими городами, умными книгами, стройками, о которых рассказывал в поезде громкоголосый парень, остался где-то позади, а здесь, в теткиной избе, свой мирок, пусть немного смешной, но вполне реальный, от которого никуда не уйти.

Однажды она рассказывала тетке о маме, о своей жизни в Москве, и та сказала вдруг:

— А ты в бога-то верь, верь!

— Да что вы, тетенька! — Нина отмахнулась с улыбкой.

— Не смей так говорить! — Тетка заговорила шепотом, быстро и страстно: — Верь! Ты поймешь потом, почему надо верить... Скоро закроют доступ к богу, и всем, кто не верит, погибель будет, верь! И за мать молись. Может, ей, покойнице, от этого легче будет там...

Нина смутилась, отвела взгляд, будто и правда своим безверием она делала какое-то преступление перед матерью. Тетка, заметив это, замолчала.

Иногда разговаривал с девушкой Родион Курбатов. Подойдет, сядет в сторонке, смотрит, как Нина, упрямо поджав тонкие губы, сумрачная, моет посуду или вяжет себе на зиму варежки, спросит ласково:

— Скучно небось с нами здесь жить, зверек?

— Скучно!

— Эхе-хе! Суета мирская, все суета сует!

Помолчит и заговорит тихонько:

— Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на пути своем, и возвращается ветер на круги свои, все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», — но это уже было в веках, бывших прежде нас. Нет в памяти о прежнем, да и то, что будет, не останется в памяти у тех, которые будут после. Все суета и томление духа!..

Нина слушает, бросив дела:

— Как складно вы говорите, дядя Родион!

— Это не я, милая, говорю, — улыбается старик. — Это царь Соломон, мудрейший из всех царей. Познал он мудрость и глупость человеческую, веселие и печаль, труд и безделье. И знаешь, к чему пришел?

— К чему же?

— Пишет он так, — старик наморщил высокий желтый лоб, напрягая память: — «Выслушаем сущность всего: бойся бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека». А ты, зверек, тихий, ласковый, слушай да на ус мотай. — Старик опять помолчал и добавил уже строго: — Скучно бывает от суеты мирской, а с богом сердце всегда спокойно.

Нина вытирала тарелки и блюдца чистым полотенцем, ставила их на полку. Когда протягивала вверх руку, подол платья приподнимался, обнажал выше колен крепкие, стройные ноги.

— А ты бы работать пошла. Что же сидеть-то так? — сказал старик. — Блажен тот, кому труд бог в радость дает.

— Ходила я, дядя Родион, на шахту, — она действительно однажды решилась на это, — была в отделе кадров. Но там сказали, что ничего нет. Да и вряд ли будет: под землей работа только мужская, а наверху когда-то найдется.

— А ты комсомолка небось?

— Да. А что?

— Вот и сходи к своему комсомолу. Может, он поможет, — смиренно посоветовал Курбатов.

Нина чуть заметно усмехнулась: «Вот так раз: в бога верует, а за помощью к комсомолу посылает!.. И правда сходить надо, на учет встать, вдруг да и помогут...»

А старик уже встал, ушел в горницу, где сидели тетка, дядя Андрон и еще две гостьи.

4

В горкоме девушка, которая сидела в секторе учета, направила Нину к секретарю. Нина постучала в дверь его кабинета, и сразу два голоса ответили громко:

— Войдите.

Она вошла. Парень в куртке с «молниями» звонил по телефону — в трубке что-то жужжало на всю комнату, — еще двое сидели на черном клеенчатом диване; все они удивленно взглянули на Нину — видно, здесь не привыкли, чтобы в дверь кто-нибудь стучал. Парень в куртке кивнул ей на стул и сердито закричал в трубку:

— Это столовая?.. Столовая?.. Дусю Масленкину попросите... Масленкина? Здравствуй. С тобой говорит секретарь горкома Брянцев. Слушай, будь добра, посмотри в окно, стоит у клуба автобус? Стоит, — довольно подтвердил он. — Сбегай к нему и скажи, чтобы больше никого не ждали, а ехали тут же в колхоз. Скажи, оттуда уже звонили и спрашивали: «Где самодеятельность?» Вот-вот. Я подожду у трубки, прибежишь, скажи мне.

Брянцев повернулся к ребятам, сидевшим на диване.

— Вот так за каждой мелочью самому следить приходится! — и, помолчав секунду, добавил: — А вы вот что: продрайте этого Сидорова с песочком на собрании. Хватит с ним нянчиться: дисциплина есть дисциплина. А потом мы его вызовем на горком и тут продраим с наждачком.

— Это мы и без твоих советов могли сделать, — хмуро ответил высокий парень в брезентовой робе. — Пошли, Иван, — махнул он рукой своему соседу.

— Вот и сделайте, — жестко подтвердил Брянцев и повернулся к Нине. — Что у тебя?

«Какой строгий!» — подумала она, подождала, пока выйдут те двое, и, волнуясь, стала рассказывать, как и почему она приехала сюда.

— Та-ак, значит, мать умерла? А почему же?.. — он не договорил, в трубке опять что-то внезапно зажужжало. — Алло!.. Масленкина? Поехали?.. Ну, спасибо тебе, молодец! — Он положил трубку и повернулся к Нине. — А почему ты дальше учиться не пошла?

— Я сдавала в педагогический, но в это время мама болела, заниматься некогда — ну, и не прошла по конкурсу. — Ей не хотелось все это рассказывать ему.

— А конкурс небось в Москве большой? А? Семь пядей во лбу — не пройдешь, а? Да... — протянул он и, засмеявшись, отвалился на спинку кресла, такой же широкий, как эта спинка.

Нина обиделась.

— Почему же не пройдешь? Многие наши девочки поступили.

— Куда же?

— Кто куда. Одни — в тот же педагогический или медицинский, другие — в институт инженеров транспорта, дороги будут строить.

— Здорово! А в горняки никто не пошел?

— В горняки? Нет как будто.

— Жаль...

Потом она сказала, что хочет пойти на работу.

— Правильно решила, — подтвердил Брянцев. — Поработать всегда неплохо. Только вот насчет трудоустройства у нас туго. Шахты старые, отрабатывают свое, потому и туго. — Он на минуту задумался, собрав в крупные складки кожу на лбу. Почесал голову, из-под руки быстро взглянул на Нину. — В общем ты подожди. Будет что-нибудь, я тебе сообщу. Ладно? Оставь адрес в секторе учета.

Они попрощались за руку.

У входа в горком все еще стояли те два парня. Маленький сказал с обидой:

— Нельзя так, Жора, брось! Он же хороший парень, свой, из работяг, все понимает.

— Это точно, — хмуро протянул Жора, — до тех пор горя не узнаешь, пока своя вошь не укусит.

— Да что ты с шуточками лезешь! Дело серьезное, а ты...

Нина не дослушала.

В школе она почти никогда не занималась общественными делами. И не потому даже, что ей много приходилось помогать матери по дому и времени не хватало, — она просто стеснялась быть на виду у всех. Да и училась она не очень хорошо, поэтому, когда отказывалась работать пионервожатой или участвовать в самодеятельности, ее одноклассники легко соглашались: ладно, мол, только учись как следует. Так и росла она дичком, в стороне от других. Но все-таки Нина привыкла, чтобы вокруг нее шла какая-то общая жизнь, чтобы люди помогали друг другу, спорили, советовались, даже ругались из-за такого, что их прямо, казалось, и задевать не должно.

Разговор в горкоме напомнил ей об этой жизни.

Она шла по улице. Днем выпал первый снег. Он лег на мерзлую, изборожденную застылыми колеями землю. Лег на изломанные грязные мостки, на крыши домов, иссеченные дождями, на ветви деревьев. Было весело слышать, как он похрустывает под ногами.

«Самодеятельность, дисциплина, — вспомнила Нина. — Что-то делают они, живут... А секретарь их

какой серьезный!..— И подумала: — В этом теткином доме совсем одичаешь. Хоть бы, правда, нашлась работа...»

Мимо, смеясь, прошли несколько парней. Они спешили в клуб. На заборе в афише написано от руки: «Сегодня новая итальянская картина «Хлеб, любовь и фантазия».

«Вот так новая! В Москве еще до моего отъезда прошла. Сходить, что ли?.. Хорошо сказано: «Хлеб, любовь и фантазия».

Дома тетка и дядя Андрон готовились идти на моление. Дядя Андрон, уже собравшись, стоял у порога, покорно ждал. Мария Антоновна быстро поставила горкой грязные тарелки на стол, покрыла их полотенцем и прошла за занавеску, в горницу. Должно быть, за платком.

— Вымой посуду тут, — сказала она на ходу.

Нина достала из чемодана свое любимое платье нежно-салатового цвета с оборочками на груди. Первое ее хорошее платье, которое было куплено к выпускному вечеру. Все говорили, что цвет этот идет к ее черным глазам, смуглой коже.

— Я тоже пойду.

— Куда это?

— В кино.

— В кино? — Голос тетки налился удивлением и гневом. Она вышла на кухню и, увидев, как племянница разглаживает на руках платье, остановилась, замахала на нее рукой: — Да ты что? И в таком наряде?.. Грешница блудная! Дай сюда его, дай! Нарядница! — Тетка вырвала у нее платье.

— Что вы, тетя? — оторопев, Нина опустила руки. Она еще ни разу не видела ее такой. Седые волосы выбились из-под платка, глаза округлились, движения стали порывисты, тетка почти кричала:

— Не смей!.. А что это такое? Белая, красное — вот, вот! — Она выбросила из чемодана блузку и еще одно платье. — Завтра же продам!

И, скомкав, понесла их к себе в комнату. Нина молча опустилась на лавку под окном.



Дядя Андрон, все еще стоявший у порога, как-то неуверенно подтвердил:

— Грех, дочка, в таких платьях ходить, нельзя. — И вдруг неожиданно добавил заулыбавшись: — А коли скучно, пойдем с нами. Мы там и песенки поем, все-таки забава для тебя. Пойдем, а?

Нина, досадливо пожав плечами, отвернулась. Слышала, как тетка подошла к ней.

— И то лучше, чем в кино-то, — голос тетки был необычно ласков. — Пойдем?.. Да ты не серчай. Ведь грех это, за тебя я боюсь, — она перешла на шепот. — Придет он, всех накажет, никуда не спрячешься! Язык отымет, через огонь жизнь возьмет; биться будешь, прощенья молить, ан поздно!.. Пойдем, Нина?

— Никуда я не пойду! — Девушка с вызовом взглянула на нее.

— У-у, бесстыжие твои глаза! — Тетка замахнулась на нее: — По кинам только бы и шляться! Посовестилась бы...

Она пошла к выходу.

— Надумаешь, приходи. Урицкого, дом пять, — закрывая дверь, уже обычным властным тоном сказала Мария Антоновна.

Неторопливо тикали на стене ходики.

Нина сидела не двигаясь. Смеркалось. В оконце лился белесый призрачный свет, по углам комнаты колыхались тени. Дом молчал. Ситцевая занавеска у входа в горницу повисла горбом, и казалось, за ней стоит кто-то. Сейчас он двинется, разобьет одним ударом тишину... Страшно!.. «Кап», — звонко шлепнула вода в тазу под умывальником. Нина вздрогнула. Нет, не могла она сейчас оставаться одна. Хоть бы куда-нибудь деть себя!.. Пойти все-таки в кино?.. При этой мысли ей опять стало стыдно. Может быть, и права тетка: кино и это платье были бы сейчас преступлением. Да, конечно, она права...

Прошло еще минут пять. Нина встала, накинула быстро черную телогрейку, которую на днях купил ей дядя Андрон, и вышла на улицу.

...Урицкого, пять. За высоким коричневым забором — калитка приоткрыта — приземистый длинный

дом с каменным полуподвальным этажом. Вдалеке — крытая дранкой избушка. К ней тоже протоптана в снегу тропинка. Куда идти? Нина остановилась. Двор был пуст.

Вдруг раздались мягкие стройные звуки, высокие и печальные. Они шли, казалось, из-под земли, из-под снега, голубоватого в сумерках, и подымались к небу, безоблачному, подернутому морозной дымкой. Нина растерянно оглянулась: что это, померещилось? Нет, звуки рождались где-то внизу, под ее ногами. Это была песня. Вот взметнулись, жалуясь, женские голоса, и, низко пророкотав, успокоили их мужские, и снова песня полилась медленно и плавно. В какое-то мгновение девушке сделалось жутко, но потом она догадалась: поют в полуподвале, ну конечно! Вот и дверь туда открыта. Там идет собрание.

Она спустилась на четыре ступеньки вниз и вошла.

Большая комната была полна людей. Они сидели спиной к двери на лавках, составленных в ряды, тесно, почти вплотную друг к другу, и пели. Под потолком горела тусклая лампочка, прямо под ней был квадратик свободного пола, чуть сбоку стоял столик, за ним сидели Курбатов — Нина сразу узнала его — и еще какой-то пожилой мужчина, пухлый, с небритой седой щетиной на лице. Курбатов пел, закрыв глаза.

Несколько человек оглянулись и, увидев Нину, сразу подвинулись на лавках, освободив ей место. Показали жестами: садись. Она села. Было ей неловко, совестно, как бывает, когда застанешь вдруг людей в интимные их минуты и не можешь уже незаметно выйти, хотя и остаться с ними тоже неудобно.

Нина подняла глаза. На стене висел лист белой бумаги, оправленный в рамку; на нем красиво от руки написано: «Бог есть любовь».

«Как хорошо! — подумала Нина. — «Бог есть любовь»... Любовь...»

Слов песни она никак не могла понять, только в припеве, который часто повторялся, разобрала последнюю строчку:

Бог нас от гибели спас, —

высоко твердили женские голоса.

Бог нас от гибели спас, —

вторили им низко и мягко мужские басы.

Впереди Нина разглядела спины тетки и дяди Андрона. Они сидели прямо, не поворачиваясь. Чуть сбоку, в профиль к ней, — Вера, соседка.

Вдруг песня кончилась. Встал Курбатов. «Наверно, он главный здесь», — догадалась Нина. Был Родион Алексеевич необычно подтянут, торжествен.

— Возблагодарим господа бога нашего, — сказал он, глядя прямо на Нину, — позволившего нам опять собраться вместе.

Все проговорили что-то нестройно и коротко вслед за ним.

— Братья и сестры, — начал опять Курбатов, голос его звучал по-молодому легко и чисто, — сегодня я хочу напомнить вам о тех гонениях, которым подвергают истинно верующих в бога, отца нашего. Иные, пошатнувшись в вере, даже стали искать истину, отличную от бога и помимо него... Удивительны ли эти гонения, братья и сестры? Нет, так было, так есть и так будет до тех пор, пока не грянет на земле суд очистительный, праведный, божий...

Нина огляделась вокруг. Сидевшие рядом с ней смотрели прямо и строго на Курбатова. Вера, соседка, взглянула на девушку и улыбнулась ей. Потом, отвернувшись, зевнула широко, не закрывая рта. Нине стало смешно. Взгляд Веры блуждал где-то под потолком. «У нее сегодня коза пропала, — вспомнила Нина. — Видно, думает о ней».

— Откройте евангелие от Иоанна,— говорил между тем Курбатов, — страница триста шесть, глава четырнадцатая, стих семнадцатый. Читайте. — Тут только Нина заметила, что у большинства собравшихся книги. Ласковый шорох прошел по комнате. — «...Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет...» Вот почему, братья и сестры, — говорил Курбатов, — преследуют нас и

лгут на нас, ибо, если они не понимают нас, разве могут они говорить правду?.. И дальше читайте — глава семнадцатая, стих четырнадцатый.

Нине стало скучно, и она перестала слушать. Курбатов говорил долго. Вдруг голос его зазвенел злостью. Потом опять зашелестели страницы, и какой-то женский голос впереди громко начал:

— Боже хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым; отовсюду окружают меня словами ненависти...

Все стали читать то же, кто по книге, а некоторые на память; слова сбились вместе, жужжали, крутились по комнате, словно громадный овод залетел в нее с улицы и бился о стены и никак не мог вырваться на волю. В псалме говорилось о каких-то врагах, большую часть слов Нина не могла понять, но временами голоса молившихся вдруг повышались, и отдельные фразы были ясно слышны:

— Да будут дни его коротки, и достоинство его да возьмет другой... Дети его да будут сиротами, и жена его — вдовою. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде...

А перед глазами Нины плыла синяя надпись: «Бог есть любовь».

— Да облекутся противники мои бесчестьем и, как одеждою, покроются стыдом своим!..

— Да будет так! — громко воскликнул Курбатов.

— Да будет так! — громко ответил хор.

— Помолимся, братья и сестры, — сказал Курбатов.

По комнате прошло движение. Кое-кто опустился на колени, другие продолжали сидеть, и все быстро забормотали что-то свое, бессвязное.

У Нины забилось гулко сердце, навис сверху каменный потолок. Душно!.. Показалось: лица у всех вдруг побагровели и слились в одно. И это огромное лицо смотрело на Нину лишь одним глазом, он ширился, наливался кровью, пламенел. Гул нарастал, и вдруг какой-то одинокий, тонкий, как нитка, женский голос выкрикнул: «А-а-а...» Нина, вздрогнув всем

телом, повернулась на крик. Кто-то бился на полу в судорогах среди людей, стоявших недвижно, как истуканы. И еще поднялись голоса; казалось, нет им уже места в этой тесной каменной комнате.

— Авва, отче! Авва, отче! — беспрестанно свистящим шепотом произносил кто-то позади. — Авва, отче!

И снова, теперь уже посреди комнаты, другая женщина выкрикнула: «А-а-а...» Крик этот рванул за душу; не помня себя, Нина выбежала на улицу.

...Она остановилась лишь у ворот дома. Дышала часто, неровно; руки и губы прыгали в нервном ознобе, все рос, рос перед ней до необъятных размеров тот страшный, залитый кровью зрачок.

В городок пришла ночь. Мерцали вдалеке одинокие огоньки, над ними низко застыло небо в белых, не различимых в сумраке облаках. Падал медленно снег, сухой, нечастый, крупчатый.

Потом, когда Нина пыталась вспомнить, что случилось с ней, душу охватывало гнетущее властное чувство, безысходное и острое в своей жути. И звенел в ушах пронзительный крик, взметнувшийся над глухим бормотанием: «А-а-а...»

Ночью ей приснился бог. Он был в растерзанной, окровавленной одежде, с лохматой, клочьями, бородой, с длинными непрестанно двигающимися как щупальца пальцами. Бог был громаден, он занимал полнеба и все надвигался, надвигался на нее.

Тетка сказала ей утром, что она кричала во сне.

5

Больше ходить на молитвенные собрания Нина не решалась, хотя не раз звала ее с собой тетка. Девушка все время думала: «Неужели и правда все, кто там был, верят в бога, в то, что он существует?» Ведь там сидело, по крайней мере, человек сто, и среди них были молодые девушки, ее сверстницы и чуть постарше. Нина заметила даже троих парней.

Они тоже, как и все, молились истово, пели, читали псалом. «Неужели и они?..»

Она часто расспрашивала дядю и тетку об этом и о многом другом, непонятном ей. Больше всего любила задавать такие вопросы дяде Андрону — его вера и бог казались ей добрее, чем у многих. Даже несколько раз пыталась спорить с ним.

— Ведь наукой доказано, — говорила она, — что человек произошел от обезьяны. При чем же здесь бог?

— В книжках все написать можно, — дядя хитренько улыбался. — А вот ты мне скажи: если по-твоему, то почему же сейчас обезьяна человека не родит?

Нина говорила что-то про исторические условия, климат, а он, не слушая, смеялся с чувством добродушного превосходства над ней, отмахивался:

— Вот то-то и оно-то! То-то и оно!

— А где же ваш бог? На небе? — сердясь, спрашивала она.

— Да.

— Почему же люди туда спутник запустили? Как же он позволил им в свое жилище войти?

— И спутник — дело божеское, потому что он к миру людей клонит. Уготовано царство небесное тому, кто не возьмет в руки оружие, а того, кто подымет его, ждет суд божеский и человеческий. «Не убий!» — сказано в библии.

— Как же «не убий»? А если враг опять нападет на нас, сидеть сложа руки?

Дядя опустил глаза, смиренно отвечал:

— Не убивать друг друга, а молиться вместе надо. Только вера сохранит людей от войны.

— Ну жди, пока все поверят! А сейчас, сейчас как же?

Теперь уже дядя сердился и говорил, чуть повышая голос:

— Если я пойду с объятиями к врагу, то и он меня не тронет. Все человеки, со всеми договориться можно.

— И в армии служить не будешь?

Дядя еще больше сердился; толстый, картошкой, нос его краснел.

— Грех даже говорить об этом, грех! Отвяжись от меня!

Нина замолкала, занималась своими делами, а он долго еще шевелил губами, хмыкал чему-то про себя.

Нина снова заводила разговор:

— Ну, хорошо. А как же все-таки спутники? Ведь сделали их люди, а не бог?

— Э-э! — Дядя опять становился добродушным. — Разум человека, которым руководит господь бог наш, сотворит еще и похлеще штуку, чем спутники...

Нина растерянно смотрела на него: «Ну, что ему ответить?..»

А он начинал нападать сам:

— Талдычите одно и то же: «Наука! Наука!..» А вот ты мне скажи: небо, звезды, весь мир — должен же был он когда-нибудь начаться? Где начало всему? Откуда пошло все?.. Опять же объясни, раз такая грамотная: почему все деревья, все твари на земле в парах ходят? Кто их такими создал? Почему уголь, железо в земле? Все для человека приготовлено: на, мол, живи! Кто же мог это складно так сделать?

Нина начала говорить про мезозой, закон изменения видов, космос, но сама путалась в этих словах, волновалась; школьные знания никак не помогали ей объяснить поставленные таким образом вопросы. А если она что-то объясняла, как казалось ей, правильно и понятно, дядя все равно махал рукой и, смеясь, говорил:

— Триста тыщ лет назад! Ишь ты, загнула! Кто же туда заглянуть мог?

— Да обожди ты, дядя! Давай все по порядку...

— Вот то-то, что по порядку. Во всем, в каждой малости один порядок, и он — от бога. То-то и оно-то!

На этом обычно и заканчивались их разговоры. Как ни спорь, последнее слово все равно оставалось за дядей.

Удивительно, но после таких споров Андрон Афанасьевич становился Нине ближе, родней. Она спра-

шивала себя: «Бога, конечно, нет, но ведь дядя во что-то верит, значит есть это что-то? И разве плохо то, что он верит?..» До сих пор Нина безразлично относилась ко всякой религии — вернее, никак не относилась, даже никогда не думала о ней. Хотят люди молиться — ну и пусть молятся, ей-то что! Она читала, что есть попы, которые обирают людей, спекулируют на вере. Но здесь не было попов, и денег никто у нее не просил. Правда, она слышала, что «пятидесятники» иногда собирают пожертвования в помощь какой-нибудь нуждающейся сестре или брату, но разве это плохо? Значит, это совсем другая вера? Они говорят: люби ближнего своего, помогай ему, делай добро! И Нину тоже всегда учили любить людей, говорить только правду, не быть злой. Значит, смысл жизни для этих людей и для нее один и тот же? Они путаются, приплетают к этому главному ненужного бога, но что же из того? Не все ли равно, как верить: важно, во что верить.

Когда Нина думала так, ей иногда казалось, что время остановило свой ход, минуты стали годами, и она прожила у тетки тысячу лет. Тот старый мир, где надо было о чем-то рассуждать, учить скучные вещи, остался далеко-далеко позади, а здесь живут совсем иные люди, первозданные, у которых нет ничего наносного — «от головы», а все — от сердца. Такие мысли будили в Нине желание необыкновенного, фантастического.

Она задумается, сидя у окна, и вдруг увидит голую озябшую березу во дворе, смотрит на нее долго-долго, и кажется ей, эта береза начинает плавно шевелить ветвями, цвести. Зеленые сережки в белом снегу. «Вот захочу — и будет лето, — думает она, — чего захочу, то и станет... Как интересно!» Вспоминались слова дяди и Родиона Алексеевича: «И все чудесное истинно, если оно от бога...» Таких фраз, готовых и красивых, слышанных однажды ею, было в голове множество, они паутиной опутывали сознание.

Иногда Нина словно очнется от сна:

«О чем это я? Какой бог?.. Бог? Что за бредни в голову лезут!» Будто существовало два мира в го-

родке: один, в котором она жила постоянно, — с этими неясными, путаными речами, проповедями, молитвами, сдавленными вздохами, трепетным ожиданием неведомого, сумрачный и таинственный; и другой, о котором она знала лишь понаслышке, — в нем шахтеры взрывали руду, перевыполняли планы, спорили о каких-то электросверлах и перфораторах, забоях, крышах, креплениях, слушали лекции о борьбе народов Африки за независимость, о путешествиях на Марс, танцевали в клубе, любили, растили детей. И два мира эти никак не перекрещивались, не смыкались.

Курбатов был по-прежнему частым гостем в их доме. Когда тетка или дядя Андрон не ходили почему-либо на собрание, он появлялся даже утром, ласковый, тихий, как всегда.

— Что это вы их проверяете, Родион Алексеевич? — спросила его однажды Нина.

— А вдруг случилось что-нибудь? Как же я, их старший от бога, могу не узнать этого? — и добавил, чуть заметно усмехнувшись: — Это попам все равно, кто к ним в церковь ходит, кто не ходит, лишь бы деньги приносили. А мы не золото ищем, а любовь к ближнему и заботу о нем.

«Вот-вот! — с радостью подумала Нина. — Ведь и я точно так же рассуждала!» И опять мгновение спустя она спросила себя: откуда у нее эта радость?

Однажды Курбатов, лишь открыв дверь, стоя у порога, проговорил, обращаясь к Нине:

— Здравствуй, зверек. Сегодня к тебе я с радостной вестью: нашлась работа на шахте.

— Правда?

— Конечно же.

Нина, всегда такая сдержанная в проявлениях чувств, подбежала к нему, взяла за руки.

— Вот спасибо, дядя Родион! Спасибо вам большущее!

Он смиренно опустил взгляд.

— Не мне говори спасибо, а богу. От него тебе благословение, не иначе.

— И богу спасибо! — Нина смеялась.

Работа, правда, была не ахти какая — табельщицей, но и Курбатов и дядя Андрон заверили: важно устроиться, а там, глядишь, и получше найдется: может, обучится Нина на стволовую или откатчицу, с машинами дело будет иметь.

Оформили ее быстро, в один день, причем в отделе кадров пожилой дядька в черном кителе многозначительно сказал:

— Как же! Сам Родион Алексеевич за вас просил. — И отвел взгляд.

Нина сперва не обратила внимания на его слова, но вечером, укладываясь спать, подумала: «Не обещал, а вспомнил и попросил... А в горкоме молчат и молчат. Ведь было же место, почему же они забыли обо мне?.. Говорит: «От бога благословенье». Значит, хороший их бог? Конечно же, он в том, чтобы быть вместе, помогать друг другу. Самого бога, может, и нет, но они поверили и объединились. Как мальчишки в школе: они тоже какой-то тайный союз заключали, клятву давали и потом дружили, ух, как! Горой друг за друга!..»

Нина улыбнулась счастливо и тут же заснула.

6

Сперва работа казалась Нине скучной, но недели через три она придумала себе игру, нехитрую и забавную. Нина принимала смену, подметала пол в проходной, приносила из кладовки дрова и топила печку. Когда огонь разгорался, она, во-первых, загадывала: придет сюда погреться на огонек дед Андрей или нет? Если придет, то день должен быть хорошим, если нет, то... Впрочем, все дни походили друг на друга.

Потом она оглядывала на стене доску с гвоздиками и номерками и думала: «Которые из них сегодня останутся незанятыми?» Она знала, примерно какие. Номерок 27 — за ним стоял смуглый сутулый мужчина со впалыми щеками — постоянно кашлял, болел. Кажется, он в шахте мастером. Номер 161 — муж Веры, Василий Тархин, веселый парень. Этот вчера ве-

чером опять где-то выпил, ходил по улице и пел на морозе песни. Наверно, опоздает, что с ним случается нередко, или совсем не придет. Говорили, что он пьяный бьет Веру, но Нина этому не верила: Тархина совсем не похожа была на человека забитого, способного смириться с плохим. Номер 80 — дядин. Он-то придет, как всегда, вовремя. Странно, чем-то похожа эта цифра 80 на дядю. Она такая же, как и он, округлая, верткая... Номер 59... Именно в том, чтобы угадать судьбу номерков, и был интерес этой игры.

Дед Андрей, ночной сторож на шахте, приходил посидеть в проходной почти каждое утро. Садился, кряхтя, на скамью, протягивал к печке ноги в валенках, подшитых на сгибах большими войлочными заплатами, и минут пять сидел молча. Нина знала: сейчас он начнет что-нибудь рассказывать; старик отдал приискам и шахтам без малого лет пятьдесят, он хранил в голове сотни историй о золотоискателях, о больших самородках, найденных здесь, о людях, которые владели приисками до революции. Истории эти были просты, как и сам дед Андрей.

Временами дед Андрей замолкал, поглаживая седую косматую бороду, смотрел в огонь. А дрова в топке плавились золотом, искорки вспыхивали в единственном глазу старика: второй потерян давным-давно, еще до германской, потому и в армии дед не служил.

Рассказывать дед Андрей мог бесконечно. И не было в его историях ничего романтического, удивительного, того, что Нина ждала от них. В конце концов все они поворачивали к таким обыденным мелочам, что становилось скучно слушать. Но Нина молчала, а дед Андрей все говорил, говорил не торопясь, словно промывал, просеивал слова на решете. Нина, наверно, и нравилась ему именно за то, что молчала. Он сказал как-то:

— Ты девушка смирная, не то что нынешние вертихвостки. Такой и будь.

О себе не любил говорить. Лишь однажды рассказал, как потерял глаз.

— Бил я кувалдой породу, да промахнулся и со

всего маху — в песок. Нагрелся, он, видать, от удара, плеснул горячим в оба глаза так, что повалился я на спину. Шоркал, шоркал руками, один глаз протер, а другой так и закрылся...

И опять старик заводил речь про какого-то мужичка-пермячка, Степана Лоскутова, который нашел в тайге золотую россыпь, застолбил участок, разбогател, открыл магазин. Но однажды магазин этот сгорел, и Лоскутов остался ни при чем.

Эта история, как и другие, кончалась безысходно, словно лез, лез человек в гору, сорвался, упал в пропасть, и ничего ему не остается делать, как снова лезть вверх. И все свершается независимо от его воли. Будто не люди рыли золото, владели им, а оно само случайно давалось им и потом за это вершило их судьбу. Будто не властен человек над земными кладами, они распоряжаются собой сами.

Нина спросила как-то:

— Деда, а вы в бога верите?

Он помолчал, задумавшись, потом ответил:

— Я так считаю: кому с богом удобней, тот в него и верит. А мне и без него хорошо. Много ль мне надо? Сыт, одет, а доброго человека встречу — так и совсем ладно.

Нина не поняла его.

— Да разве дело в том, что «сыт, одет»? Ведь верят не только поэтому.

— Каждый свое ищет — это ты верно сказала. Кому чего не хватает, тот того и ищет.

Больше они ни разу об этом не заговаривали.

...После того как начиналась смена, Нина выходила во двор, смотрела на шахтную надстройку, открытые ворота в ней, из которых вместе с клубами пара выбегали вагонетки, опрокидывали в отвал сырые камни, а потом опять проваливались в темную дыру. Насосы днем и ночью шумно качали из-под земли воду, а думалось, что это не они фырчат, а шахта размеренно чавкает, пережевывая глыбы руды, и выплевывает их обратно. Шахта казалась Нине живым существом, мрачным и жадным, которое подчиняется только своим, не известным никому законам. Может

быть, чувство это приходило еще и потому, что Нина не знала почти никого из тех, кто работал там, внизу. Утром люди, спеша, проходили мимо нее, чтобы вечером так же быстро разойтись по домам. Все мимо, мимо. Редко кто-нибудь из них бросит словечко Нине. А шахта была все время рядом, жила, лязгала железом, дышала горячей сыростью.

Нина возвращалась в проходную и сидела там, не зная, чем занять себя. Намывала, чистила до блеска маленькое помещеньице, но это вскоре стало привычкой. Наскучила даже игра в номерки. А люди шли мимо, мимо нее, озабоченные, торопливые, предъявляли пропуска, механически доставая их из кармана, и Нине казалось: им тоже скучно.

Она знала, есть на шахте и другая, интересная жизнь: на днях две бригады горняков стали бороться за звание коллективов коммунистического труда, о таких бригадах она слышала в первый раз; главный геолог на прошлой неделе, стоя у проходной, с увлечением рассказывал какому-то приезжему о разведках нового месторождения золота, которое искали, по его словам, необыкновенным способом; дядя говорил ей, что сейчас углубляют шахту еще на один горизонт и стволовую — Нина не совсем поняла, что это значит, — ребята вынуждены проходить, стоя по колено в воде; от этой работы одна бригада отказалась, и тогда за нее взялась молодежь шахты.

Все это был тот, другой мир. А сегодня утром в проходную пришел парнишка в телогрейке и кепке и приколотил к стене рядом с Ниниными номерками сатирический листок «Шприц». Он делал это серьезно, пыхтел и то и дело потирал ладонью красные, торчком, уши — видно, отморозил. На листке была нарисована громадная бутылка с водкой, из которой никак не мог выкарабкаться пьяный, расхлябанный, лохматый человек, и написано: «Позор Василию Тархину, который опять с похмелья опоздал на работу!»

В обед Василий пришел поглядеть на газету. Плечистый, ладный, белозубый, из-под каски лихо торчит овсяный чуб, воскликнул с искренним восхищением:

— Ого! Красиво!

Долго стоял лицом к газете, расставив ноги в резиновых сапогах, уперев руки в бока, потом проговорил неожиданно грустным тоном:

— Не пойму одного: почему же шприц? Мне бы сейчас полезнее клизму.

Нина рассмеялась.

— Правда. — Василий сверкнул улыбкой. — До сих пор мутит. Ребята ругали меня — ох, и крепко ругали! А я ничего сообразить не могу.

— Зачем же так пить?

— А!.. Не пьют одни изоляторы на столбах, так ведь они изоляторы: у них стаканчики вниз, — он поморщился кисло.

— Только не похоже совсем нарисовали, — попыталась утешить его Нина.

Василий ответил неожиданно хмуро:

— Похоже. По сути похоже... Такая это зараза: не хочешь, а пьешь. — Он вздохнул и добавил с привычной усмешкой: — Что ж, придется трудовым энтузиазмом заглаживать вину перед трезвым коллективом. Пойду...

И вышел.

Нина чувствовала: Тархин балагурит так по инерции, видно, и правда проняли его друзья. И оттого, что она поняла это, ей стало грустно. И друзья Тархина, и главный геолог, и тот парнишка с отмороженными ушами, и те, кто работает сейчас, стоя по колено в воде, хотя они могли бы и не делать этого, — все они живут иной жизнью. Нина не могла точно сказать, какой именно, что она значит, их жизнь. Вечером Нина опять придет в сумрачный дом тетки, где все молчат и выхода нет из этого молчания. Идти опять на молитвенное собрание? Нина была еще на нескольких из них, и все они не отличались от первого: проходили мирно, спокойно, только однажды какая-то женщина, как и тогда, упала на пол и билась в судорогах, кликушествовала. Нине объяснили: она говорит с богом на своем языке; каждый верующий может говорить на особом языке, понятном только ему и богу. Потом эта женщина затихла и сидела на лавке в углу, часто вытирая лицо руками, будто отбрасывая

с него паутину. Курбатов и другой проповедник, толстый, толковали на собраниях библию, деяния апостолов, евангелие, причем чаще всего просто читали подряд строчки из разных глав книг. Дважды Родион Алексеевич приносил с собой письма таинственного посланника, который до сих пор томился якобы в тюрьме. Он писал о том, что надо ждать его прихода и укрепляться в вере, что членам секты нельзя стремиться к наукам, они только развращают ум и не приносят утешения в жизни: «Чем больше познаешь, тем больше смущаешься, начало мудрости — страх господень, и познание святого — разум»; что посещать концерты, кино, заниматься какими-либо человеческими делами, кроме божеских, есть грех; что и труд есть грех, он дан людям в наказание и лишь тому приносит радость, кто по сердцу богу. Какой-то дотошный был этот посланник, не было, пожалуй, ни одной мелочи, о которой он не упоминал бы: об одежде верующих, о пионерах, уроках физкультуры в школе — обо всем. И запрещал, запрещал, запрещал... Нина никак не могла принимать эти письма всерьез, даже смеялась над ними в разговорах с дядей.

— Как же нельзя, если все так живут?

Дядя обычно отвечал ей:

— Святости в тебе нет, потому и понять не можешь. Разум, понимание мира — в вере.

На собраниях пели, иногда даже на мотивы песен, хорошо известных Нине: «Плещут холодные волны», «Что стоишь ты одна на дороге?», даже «Катюшу». Это нравилось Нине: хор всегда звучал мощно и по-особенному проникновенно, она никогда и нигде больше не слышала такого пения. Слова этих песен сочинял кто-то из верующих, их присылали Курбатову отпечатанными на машинке.

Часто не было в песнях ни рифмы, ни правильного размера, даже грамотности, и Нина замечала все нелепости, но независимо от этого настроение, с каким исполнялись они, всегда передавалось ей: становилось легко, она забывала одиночество и жила уже чувствами не своими, а общими. Из-за таких вот минут Нина и ходила на собрания.

Правда, иногда и в последнее время все чаще возникало у нее безотчетное чувство страха. Была она белой вороной среди этих людей, ей казалось: таких, как она, они ненавидят, и если не заставят жить своими законами, то смогут сделать с ней что угодно: ради своего бога, ради веры они пойдут на все. Их много, у них сила, смутная, темная.

Обычно это чувство приходило по ночам, когда Нина лежала одна на своем сундучке в кухне.

Сегодня у нее опять тревожно и тягостно на душе, не хочется никого видеть.

Кончив работу, Нина вышла из проходной и побрела прямо по улице к сопкам. Шахта стояла на окраине городка, и вскоре улица кончилась. Дорога, занесенная здесь сугробами, подымалась по пустырю в гору.

Темнело. Слева над сопками в разрывах облаков показалась луна. Она сияла ровно и ярко. Далеко впереди смотрела черным пятном, одиноким на белом склоне, елка. «Вот дойду дотуда и поверну обратно», — подумала Нина.

Подъем становился все круче, валенки утопали в снегу, неровно билось сердце. Но было приятно идти и думать только о том, что надо вытаскивать ноги из снега, и идти, идти, во что бы то ни стало дойти до елки! Просто так, из упрямства. Не все же киснуть в этой проходной!.. Хрустел снег, и звук этот при каждом шаге казался громким, как крик.

Вот, наконец, и елка. Она была маленькой, и ветви ее сплошь облепил куржак. Нина перевела дух и дотронулась варежкой до вершинки деревца. Оно вздрогнуло, осыпало вниз иглы, они закружились в падении, а лунный свет серебрил их.

Белый-белый склон. Темное деревце. Мерцающий хрустальный свет инея.

Тишина.

«Как хорошо!» — подумала Нина. И стояла так долго-долго. Ей пришла вдруг в голову мысль: «Вот и ладно, что я одна. Разве можно увидеть, почувство-

вать такую красоту даже вдвоем? Хорошо, что одна... Но ведь это плохо — быть одной?.. Ну и пусть! А мне хорошо, хорошо!..»

7

На шахте — ремонтный день. Вниз спустилась одна-единственная бригада — четырнадцать человек — проверить электросеть, крепи, воздухопроводы, вентиляторы. Разбрелись по штрекам, забоям, каждому надо пройти километров по восемь.

С ними ушел и дядя Андрон. В представлении Нины он на шахте нечто вроде лифтера. Подымает и опускает клеть в главном вертикальном стволе.

Она дежурит в проходной. Сегодня еще скучней, чем обычно. Дверь закрыта на два громадных крючка. Свет на всей шахте выключен, и кажется, стемнело гораздо раньше, чем всегда.

Тускло светит заплывшее наледями окно. Потрескивают дрова в печке. На полу гуляют неровные красные отблески огня.

В обед в проходную пришел дядя и как-то виновато, глядя на Нину, спросил:

— Скучно?

Она ничего не ответила, продолжала читать «Блистающий мир» Грина. Про удивительных людей, которые умеют летать, живут на маяках, сочиняют стихи, собирают редкие книги, мечтают о небывалом. У каждого из них свои причуды. И все они странно близки Нине.

— Ты вот что, — дядя замолчал на секунду и почему-то отвел взгляд. — Все одно никто не придет сюда. Пойдем, я тебе покажу шахту.

— Ой, правда? — Нина обрадовалась: она давно хотела побывать внизу, да все как-то не было случая. — А можно?

— Почему же нельзя? — Опять в голосе дяди послышались виноватые интонации. — Не испугаешься?

— Очень страшно, да?

Дядя вдруг сердито хмыкнул, ответил:

— Не знаю. Кому как.

В раздевалке он оставил ее одну. Нина сняла валенки, телогрейку, натянула прямо поверх платья брезентовую робу, ноги сунула в резиновые сапоги. На голову надела маленькую вязаную шапочку и каскетку, упиравшуюся ребрами в лоб.

Карбидную лампу дядя ей не дал, сказал:

— Хватит нам одной, не управишься ты с ней.

И зажег свою.

Они подошли к клети длинным сырым коридором, шаги отдавались гулко. Андрон Афанасьевич был необычно молчалив, хмурил белесые брови.

Клеть, громадная, черная, с открытой пастью, преградила им путь. Сюда дневной свет еще проникал, и фитиль лампы в руках у дяди горел белым, почти невидимым пламенем. Вплотную друг к другу стояли серые вагонетки, стены были сплошь опутаны черными толстыми проводами. Чуть слева темнел круглой дырой лаз, уходивший отвесно вниз.

— Вот сюда, — сказал дядя и наполовину исчез в дыре. Обернулся и пошутил неловко: — Электростанция не работает, так что карету свою подать не могу.

Он скрылся с головой и крикнул из глубины:

— Осторожно! Ступеньки мокрые.

Слышно было, как дядя пыхтит, как шоркают о ступени его сапоги. Колеблясь, провалился огонек лампы. Здесь, наверху, стало тихо-тихо. Гас в конце коридора дневной свет.

— Ну, что же ты? — спросил дядя, и голос его звучал глухо, басовито.

Боязно было ступить на сглаженный до блеска железный прут-ступеньку, но и оставаться наверху одной стало неприятно.

— Обожди, дядя!

Они спускались долго. Лаз был узкий, и Нина локтями ударялась иногда о стенки, ноги скользили по прутьям, темень обволакивала все вокруг, давила на глаза, и все уходил, уходил вниз маленький колеблющийся огонек дядиной лампы. Нина никак не могла догнать его.

Вдруг огонек скользнул куда-то вбок и пропал.

— Дядя! — крикнула Нина.

И тут же услышала, как он ответил шепотом совсем близко:

— Ну что ты?

Она стояла на земле, дядя приподнял лампу и осветил ее лицо.

«Почему он шепотом говорит?» — подумала Нина и спросила сама очень тихо:

— Все?

— Первый горизонт. Внизу еще три таких. Пойдем. Иди вперед.

Лампа освещала путь лишь метра на три. Округлый каменный свод будто опускался с каждым шагом все ниже. Нина невольно пригибала голову, но камни расступались перед ней, ржавые, мрачные, в каплях воды. Под ногами тянулись змейками рельсы узкоколейки. С боков ползли по стенам толстые брезентовые рукава; лампа освещала их так, что казалось, за спиной они смыкаются, — это чьи-то длинные руки тянутся навстречу и сейчас обнимут, схватят, липкие, сильные. Шаги то звонко шлепали в тишине, то шуршали; одинокие звуки эти все росли, росли; им, наверно, тесно было в этом сыром мешке. Справа камни вдруг оборвались черным узким провалом. Нина отшатнулась в сторону.

— Это рассечка, — не пугайся, — сказал дядя тихо, и она услышала, как он дышит, тяжело, со всхлипами. — Там дальше забой. Пойдем туда.

Какое-то неясное дуновение пронеслось, карбидный фитиль дрогнул, и заплясали тени вокруг. Они были живыми, эти тени, двигались; ржавая глыба внизу раздулась и стала лохматым разлапистым кустом; впереди, где штрек поворачивал вправо, кто-то черный скорчился и отпрянул в угол, опять выглянул.

«Шлеп! Шлеп!» — раздалось вдруг вдалеке, будто надвигались шаги, тяжелые, неторопливые, уверенного в себе человека.

— Кто это, дядя? — Нина схватила его за руку, и лампа прыгнула, кинулись врассыпную бесноватые тени.



— Это вода, вода, — шептал он. — Здесь больше никого нет. Бригада ниже. На десять километров никого нет.

Шаги еще раз прошлепали и смолкли. «Шлеп!.. Шлеп!.. Шлеп!..»

Тьма. Тишина.

На десять километров — никого.

Вот здесь добывают золото. То золото, о котором рассказывал дед Андрей. Оно само сторожит себя, не дается... Шлепает, ходит... Как тихо!.. Надо идти. Идти лучше...

Несколько минут они шли вперед, и звуки их шагов вновь нарастали стремительно, бились о стены. И когда стало опять казаться, что сейчас, через секунду не хватит места звукам под сводами, рухнут от сотрясения камни, Нина остановилась.

Тишина.

И опять, уже ближе к ним, послышалось: «Шлеп!.. Шлеп!.. Шлеп!..» Звуки прозвенели в ушах колоколом.

— Дядя, мне страшно.

— Ничего, ничего... Вот дойдем до забоя, где знаменитую жилу нашли, и вернемся.

Она хотела шагнуть вперед, когда совсем рядом громко, отчетливо заплакал ребенок: «Уа! Уа! Уа!..»

Плач этот был жалобен и тонок. Оборвался внезапно, и эхо злобно рассмеялось в камнях: «Хи-хи-хи!.. Хи-хи!..»

И опять все смолкло.

Ноги онемели. Нина физически ощутила, как на голове у нее шевелятся волосы.

— Это газы выходят, — громким шепотом заговорил дядя. Голос его дрожал, и казалось, сейчас сорвется на плач.

Лампа вдруг, фыркнув, погасла; со стены прыгнул на них черный человек.

— Ах! — вскрикнула Нина, а эхо громкими криками окружило их, шахта расхохоталась. «Ха-ха-ха! Ха-ха!..»

Смех этот был насмешливый, властный.

Дядя схватил Нину за руку, и они побежали.

Нина ничего не понимала, не чувствовала, как ноги спотыкаются о рельсы. Ужас, какого она никогда не испытывала, охватил ее. Она не слышала даже, как бежал дядя, не ощущала боли в руке, за которую он сильно тянул ее. Она была наедине с шахтой, с ее бесчисленными шорохами, таинственными тенями, криками. Беззащитна, беспомощна. Кто-то страшный гнался за ней, тянул руки, и не было сил бежать, сердце сжалось в саднящий комок.

Кто-то тупо ударил Нину в плечо. Она упала и потеряла сознание.

Очнулась Нина наверху, в раздевалке. Она лежала на лавке, а дядя Андрон в грязной брезентовой куртке стоял над ней, тер зачем-то ладонями ее щеки, уши и бормотал, жалобно всхлипывая:

— Господи, ну, как же это?.. Господи! Да очнись же ты!.. Я виноват, я! Послушал Родиона, послушал! И куда ей, такой крохотной, в шахту... Господи!

Толстые губы его подергивались, лицо было жалким.

Нина слушала и не слышала его. Надвигались на нее черные стены, звенела криками тишина, голова кружилась.

Она не помнила, как дядя привел ее домой, как тетка помогла лечь в постель, как пришел к ней сон.

Ночью она проснулась. Тускло горела керосиновая лампа на столе. За перегородкой шептал голос дяди, такой же дрожащий, испуганный, как и в шахте:

— Черта я видел, настоящего черта, вот тут, рядом. Он и фитиль погасил...

— Ох, господи, грехи наши! — вздохнула тетка.

Скрипнула кровать, зашлепали босые ноги по полу. Тетка в белой ночной рубахе до колен, как привидение, прошла к столу, подняла лампу и осветила ею Нину. Увидела: глаза племянницы широко открыты.

— Отошла? — в голосе ее была радость. — И слава богу! Бог не оставит. — Она присела к Нине на сундучок. Лампа бросала свет сбоку, и лицо тетки было все в черных провалах, неприбранные волосы окружали голову седым ореолом. — А ты помолись

ему, встань, помолись. Глядишь, и легче станет... Давай вместе, хочешь?

Нина послушно как заведенная кукла приподнялась. Своей воли у нее уже не было.

Они встали рядом на колени, тут же, у сундучка.

— Славим тебя, господи, всем сердцем своим, — шептала тетка. — Велики дела твои, вожделенны для всех любящих людей. Да храни, господи, простодушных сердцем, просвети не знающих истины...

Нина, не слушая ее, смотрела невидящим, остановившимся взглядом в бревенчатую потрескавшуюся стену. Она молилась не богу, она говорила с матерью:

— Ты не расстраивайся, будь спокойна, лежи спокойно, жди. Я приду к тебе, и мы будем вместе, одни, вдвоем... Жди...

8

Алексей Брянцев окликнул Нину на улице, поздоровался и спросил:

— Ты, говорят, к «пятидесятникам» ходишь?

Нина опустила взгляд.

— Хожу.

— Зачем?

Нина молчала.

Они стояли на обледеневшем тротуаре, дул порывистый ветер, печально поскрипывали, раскачиваясь в вышине, вагонетки канатной дороги.

— Зачем ходишь-то? — громко повторил свой вопрос Брянцев. Он смотрел на нее с искренним удивлением и любопытством — так, наверно, смотрят в зоопарке на какого-нибудь никогда не виданного зверька.

Брянцеву и правда было непонятно: вот такая симпатичная деваха, видно, решительная, ходит к сектантам. Что она ищет у них? Неужели и впрямь в бога поверила?

— Заставляют тебя, что ли?

Нина уловила в его голосе и любопытство и едва заметную насмешку, подняла взгляд: глаза были черные, строгие.

— Никто меня не заставляет.

— Так что же тогда?

Она молчала. Брянцев почувствовал: сейчас ее ни о чем не расспросишь.

— Ну, вот что. Приходи ко мне, — он задумался, — через четыре дня, в пятницу. Я вернусь из Красноярска, и тогда поговорим.

Они разошлись.

Странный человек был этот Алексей Брянцев. Нина никак не могла понять его. Сейчас он ей показался отчужденно-холодным, в первую встречу — строгим, но простым, а ведь мог быть и внимательным, душевным. Она вспомнила, как Брянцев обрадовался, увидев ее в проходной. Сразу узнал, поздоровался, расспросил, как устроилась на работу.

— Небось ругаешь меня? Ничем, мол, не помог...

Нина не ответила.

— Я и сам себя ругаю... Но, понимаешь, замотался совсем, всякие пертурбации! Должность освобожденного секретаря на шахте ликвидировали и меня же выбрали вместо него по совместительству. Говорят: «У вас город-то — одна шахта, справишься». А какой там одна шахта? Почта, сберкасса, промкомбинат, да мало ли!.. Вот я и забыл про тебя, ты уж прости.

Он замолчал и устало присел на стул, стоявший рядом с Нининым окошечком, снял шапку. Вид у него был такой, словно и правда бежал, бежал человек, сам не зная куда, замучился, остановился и оглядывается: где он? В тот момент чем-то напомнил Брянцев Нине Степана: растрепанные волосы, курносый, плотный, какой-то домашний. И одет в шинель, из-под которой видна телогрейка — Степан сейчас тоже ходит в шинели.

— Главная беда, — опять заговорил Брянцев, — крутишься с утра до ночи, а все, кажется, без толку: отдачи не чувствуешь... То ли дело, когда работал мастером! Выдаст участок за смену полторы сотни вагонеток, подымаешься на-гора, тебя все по плечу хлопают: «Давай, Алеша! Молодчага!..» С Доски почета не слазил... А тут! — он махнул рукой. — Ка-

кой из меня секретарь? Я в армии старшиной был. Старшина из меня и получился. Обижаются: командуешь, мол, много, а сами, черти, не слушаются. Ну попробуй ты сладить с таким народом!..

Он достал из кармана пачку «Звездочки», размял папиросу, закурил задумавшись. Потом вдруг быстро взглянул на Нину — в карих глазах усмешка.

— Что это я перед тобой исповедуюсь, а? — рассмеялся. Нина улыбнулась в ответ. — Чем-то нравишься мне. Что-то такое у тебя есть, — Брянцев покрутил толстыми крепкими пальцами в воздухе, — серьезное, без дураков...

Он рассказывал ей еще о чем-то, они смеялись, а потом секретарь горкома пообещал втянуть ее в общественные дела и ушел, позабыв шапку на стуле.

Забывчивый. И все-таки он хороший. Нина вспомнила, что ей рассказывали о нем: кончил семь классов и пошел работать на шахту; отца убили на фронте, а у матери было еще двое ребят, младших. Работал хорошо. Кончил заочно горный техникум, стал мастером. С шахтерами никогда никаких осложнений у него не было, потому что все знали его как своего парня. Выбрали сперва комсоргом, а потом секретарем горкома. Все было просто. Вот так и надо жить: просто и прямо. У него под шинелью телогрейка, и от этого Брянцев толстый и немного смешной.

Воспоминание это явилось слепо, не пробудив чувства. Будто заглянула случайно с улицы в освещенное окно, скользнула посторонним взглядом, увидев людей отдаленно знакомых, но чужих, разговаривающих, но неслышных, и прошла мимо, думая о своем, важном, свершающемся в ней. Не только эту встречу с Брянцевым — все происходящее рядом она воспринимала лишь затуманенным краем сознания, как во сне, лишь одно чувство ясно всплывало в душе. Это было чувство страха. Взвизгивал ролик канатной дороги — Нина вздрагивала, дома упадет бликом на стол шалавый луч солнца, скрипнет половица — и что-то остро защемит в груди, кровь прильет к лицу, застучит сердце. Чего боялась она? Нина и сама не знала. Но она постоянно ждала: что-

то должно случиться, оно близко, ходит неотступно следом за ней. Стоит обернуться назад, и она увидит... Нет, там пустота. Оно опять за спиной, сторожит, дышит тяжело, с всхлипами, как тогда в шахте дядя... Надо было забыться хоть на минуту от этого чувства, иначе не хватит сил.

Тетка Мария говорила:

— Молись. Проси прощения у бога. Проси, чтобы он крестил тебя святым духом.

И она молилась. Возможно, она делала бы еще что-нибудь, если бы знала, что делать. Но сама она ни о чем не могла думать. И поступала так, как подсказывали ей другие.

В молитвах она разговаривала с матерью, богом, просила у него крещения святым духом. Что это такое, Нина не знала.

Она доводила себя до изнеможения, шептала, шептала требовательное и мятущееся. Последние три дня не была на работе, домой приходил врач, выписал бюллетень. И все эти три дня Нина простояла на коленях, без сна, подымаясь лишь для того, чтобы поесть. Иногда рядом становилась на колени Мария Антоновна. Когда в памяти не оставалось больше несказанных слов, тетка советовала:

— Говори одно: «аллилуйя».

Наверное, бывали минуты, когда Нина почти теряла сознание, она уже не выговаривала отдельные слова, а бормотала что-то бессвязное. Тетка потом рассказала ей об этом и объяснила:

— Ты узнала тайный для других язык, на котором только и можно говорить с богом, поверять ему душу.

Вечером третьего дня, когда они молились рядом, Нина случайно взглянула на тетку и увидела, что лицо ее сдвинулось, сместились его черты. Морщинки, рот сровнялись, вместо двух глаз был один, черный, глубокий, но не злой; он смотрел на нее строго и пристально, не мигая, словно спрашивал что-то. Нина проговорила исступленно, вложив в слова все силы души:

— Господи, господи!..

Глаз исчез. Рядом на коленях стояла тетка Мария, прямая как истукан; руки ее, в черном, неслышно двигались, плели невидимые кресты. Она спросила вздрогнув:

— Что ты, Нина? — и, узнав что́, вдруг поднялась живо, нагнулась, взяла голову девушки в руки, сухие, горячие, зашептала с радостью: — Видение тебе было, слава те господи! Принял он тебя, увидел, не иначе. Слава те, всемогущий, всемилостивейший! Радуйся, Нина, плачь...

Нина заплакала.

Часа через два пришел Родион Курбатов, и тетка рассказала ему о происшедшем, Родион согласился с ней: Нина прошла искус — крещение духом святым снизошло на нее.

...Был первый вечер после трехдневных молитв. Нина вышла на улицу — просто так, подышать воздухом.

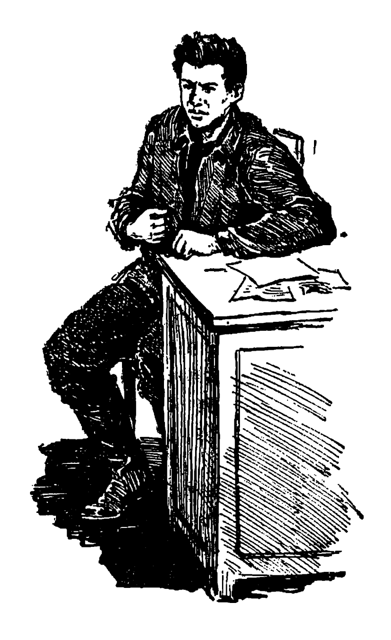
Кружилась голова, ноги подкашивала слабость, как после болезни. Шла медленно, пошатываясь.

Смеркалось, падал беззвучно снег. На улице почти никого не было. Только из булочной на другой стороне улицы временами выходили люди, и тогда, взвизгнув, глухо хлопала дверь, доносился едва слышный запах печеного хлеба. Вдалеке, у клуба, зеленого, выцветшего здания с деревянными колоннами, громко говорил репродуктор. Наверное, шла ежедневная передача местного вещания.

Нина не обращала внимания ни на звуки, ни на прохожих, неторопливо проплывающих мимо в пелене снега. На сердце было так пусто. Вдруг до ее сознания дошло, что репродуктор назвал имя Родиона Курбатова. Она прислушалась.

— Они не успокаиваются, — громко, на всю улицу говорило радио, — и плетут свои черные сети вокруг молодых сердец, пытаясь вербовать новые кадры. Делают это «пятидесятники» потому, что каждому верующему якобы зачтется многое богом, если он привлечет в секту еще кого-нибудь. Так, например, стали недавно посещать молитвенные собрания две девушки — Татьяна Лазарева и Нина Минакова, рабо-

тающие на шахте. Их вынуждали к этому родственники зверскими побоями, истязаниями....



Что это? Не ослышалась ли она? Назвали ее фамилию? Не может быть!

Нина остановилась побледнев. Словно кто-то и впрямь ударил ее по щеке. И опять на секунду шевельнулось сосущее чувство страха, сменившееся тут же обидой. Кто мог придумать такое? Про тетку Марию и про дядю? Как же так?..

Пришел порыв ветра, завьюжил снег, и вместе с ним закружились мысли.

Про нее?.. Такое?.. На весь город?..

Ни разу в жизни никто ее пальцем не трогал, но где-то в глубине души она твердо знала, что побоями — как бы ни истязали! — никогда ничего не заставишь ее сделать. И поэтому услышанное показалось до дикости нелепым.

Она мгновенно вспомнила последний разговор с Брянцевым, вспомнила первый раз в эти дни и решила: «Это он, больше некому! Завтра же...» Кстати, завтра пятница, он ждет ее. Сказать ему... Но неожиданно пришла иная мысль: «Не все ли равно? Пусть...»

Было странное чувство — обида до слез, но обижалась не она сама, а кто-то другой в ней, полузабытый наверно, та, старая Нина, и, кроме обиды, охватила всю ее тупая усталость.

И все-таки Нина пришла к Брянцеву.

Он поздоровался, кивнул на стул. Она осталась стоять.

— Садись рассказывай, что у тебя случилось.

Исподлобья быстро взглянув на него, Нина спросила:

— Почему по радио про меня сказали такое?

— Разве это не правда? — удивился Брянцев.

— Кто выдумал, — она на мгновение запнулась и окончила твердо, — что меня били?

— Били? — протянул он, облегченно вздохнув, словно речь шла о пустяке, но тут же, сообразив что-то, задумался. — Да ты сядь.

Нина машинально опустилась на краешек стула. Брянцев нахмурился, нервно теребя верхнюю пуговицу своей синей спортивной куртки. Пуговица держалась, кажется, на последней нитке.

— А что, не били? — недоверчиво спросил он наконец.

Она молчала. Смущенно он начал оправдываться:

— Понимаешь, я сказал редактору про тебя: мол, обрати внимание. И все. А ту, вторую, — как ее? Татьяну Лазареву действительно били, это точно. Вот он, наверно, и объединил.

Он говорил это и сомневался: может, она обманывает? Ну как же могли заставить ее поверить во всякую чепуху? Если кто-нибудь поверил в чепуху — значит, он либо непроходимый дурак, либо его заставили. Нина не глупа, он это видел. Значит, заставили? Но заставить можно, испугав, причинив боль.

Он опять спросил:

— А может, по радио все-таки правду говорили?

Нина молчала. Ей было уже все безразлично. Она смотрела, как пальцы Брянцева продолжают крутить пуговицу, и думала: «Оборвется или нет?» Почему-то этот пустяк занимал ее сейчас больше всего.

— Так ты расскажи, почему ходишь к ним.

Опять повисло неловкое молчание. Брянцеву оно начинало казаться тупым. Даже комната стала вроде бы меньше. Он посмотрел на девушку и подумал: «И взгляд-то у нее какой-то пустопорожний. Правда, дурочка, что ли?..»

Тупость всегда злит. Алексей повысил голос:

— Скажи, будешь ходить туда?

Нина думала: «Оборвется или не оборвется?..»

— Какая же ты комсомолка после этого? Слушаешь какие-то бредни, молитвы долдонишь! Комсомолка, представитель передовой части молодежи... Ну, что молчишь-то? Будешь ходить или нет?

Нитка еще больше ослабла. Оборвется или нет?

— Ты ответишь на мой вопрос?

Нина сказала скучно:

— Буду.

«Треньк!» — натянутая ниточка оборвалась. Последняя.

Брянцев бросил пуговицу на стол, она звякнула о стекло. Проговорил жестко:

— Хорошо. Обсудим на собрании. Я буду настаивать на исключении из комсомола. Все. Можешь идти.

Нина встала и, забыв попрощаться, пошла к двери. Она чувствовала себя разбитой. Очень, очень хотелось спать — положить голову на подушку и заснуть. И ни о чем не думать.

9

Дни тянулись однообразные, тоскливые, как осенний сыпучий дождь.

Молитвы. Псалмы. Проповеди. Опять молитвы.

Бог не существовал для Нины в каком-либо конкретном образе: он был везде, во всем. Ласковость и гневность Родиона Курбатова и бесхитростная вера дяди; женщина, которая бьется в судорогах на собрании, и закуржавевшая светлая елочка, примиряющая человека с самим собой; вздохи, жалобный плач «Неведомого» в шахте и стройная музыка гимнов; неотступный страх и случайная радость — во всем этом был бог. Он — начало всех вещей, чувств. Ведь должно же было когда-нибудь все начаться? Деревья, солнце, небо, звезды... Они были вечно? Но что значит «вечно»? Этого нельзя почувствовать, нельзя объять мыслью. В самом слове «вечность» уже что-то мисти-

ческое, не сопоставимое ни с чем. Ничто кругом — на глазах человека — не существует вечно, все разрушается, умирает, рождается вновь. Но ведь вначале не могло родиться все из ничего, само собой? Бог — причина всех причин.

По-детски наивная и крепкая вера во всесильного «Некто», как забытая сказка, ожила в ней. «Он» может все — заполонить мир пожаром и заставить людей плакать от радости. Бесполезно что-либо делать самой — все равно получится так, как должно получиться. Нина бессильна изменить свою судьбу: смерть матери, переезд сюда, работа на шахте, страх, испытанный ею, и забвение от него, однажды найденное в молитве, — все это произошло независимо от ее воли, желания. Так же будет всегда. Не надо думать о том, как поступать, надо лишь просить.

И она просила:

— Господи, прости меня, сделай так, чтоб все было хорошо!

Что должно быть «хорошо», Нина и сама не знала.

Она все реже и реже писала Степану. Его же письма приходили по-прежнему часто. Он волновался, спрашивал, что случилось с ней, почему столько тоски в каждой строчке, написанной ею, и заклинал: «Жди, я приеду, и тогда все будет так, как мы хотели». Онто думал, что тоскливое настроение Нины, сухость, строгость ее последних писем из-за того, что она одна и никак не найдет себе места в этом далеком, неуютном городке. Большего Степан не знал. Нина ни разу не писала ему о секте, о своей новой вере. Ей казалось почему-то, что на бумаге все слова будут фальшивыми.

И образ Степана постепенно стирался в ее душе, она не могла уже вспомнить ни одной его черты. Он был в прошлом, о котором Нина не любила теперь думать: прошлое отвлекало ее от сегодняшнего, главного.

По законам секты членам ее не разрешалось выходить замуж или жениться на неверующих. И Нина

решила — без колебаний, сразу — дать обет остаться на всю жизнь одной. Кроме Степана, она никого не представляла рядом с собой; если бы и пришла в голову эта мысль, она показалась бы ей кощунственной. А Степан...

Нина написала ему:

«Ничего не спрашивай, не удивляйся. Наши пути разошлись навсегда. Я не могу быть с тобой. Не пиши, все равно я не буду читать твои письма...»

И правда, с тех пор Нина ни разу не заходила на почту. Каждый раз, когда она все-таки вспоминала о Степане, подымалось в груди чувство горькое, едва уловимое, как дымок одинокого костра в осеннем свежеубранном поле. Она тут же старалась прогнать это чувство, молилась:

— Господи, дай силы забыть себя, прими душу мою...

Но однажды она вспомнила об этом своем письме Степану и ужаснулась. Четыре года они жили друг другом, мечтали о будущем, было такое чувство, что даже когда врозь, все равно казалось — вместе. Не существовало «ты» и «я», было «мы». Ни одной мысли не приходило в голову такой, чтобы она не была хоть как-то связана со Степаном. И были мелочи, ну, уж совсем домашние и самые приятные Нине: она любила покупать ему в магазине носки, галстуки, какое-нибудь обыкновеннейшее лезвие для бритвы, карандаш. А дарила их так, словно несла ему море, солнце, звезды. Да, такое было время. И вот прошло полгода. Полгода! — и все рухнуло. Как же так? Что же тогда вечно в этом мире? Что истинно? Бог?.. О нем страшно думать... Вечно и единственно истинно — чувства, мысли, добрые, светлые, для других. Ведь не зря и в библии об этом чуть не на каждой странице говорится. Можно отрицать, судить слова библии, искать в них противоречия, но никто не докажет того, чего не было, и разве не воспитывались на библии миллионы людей тысячелетиями! И вдруг мысль обрывалась: почему же тогда эта самая библия со всем ее добрым отрывает от нее Степана, застав-

ляет Нину забыть его?.. Непонятно, ничего непонятно. Нет, нет, нельзя думать о таком — грех!

Часами она простаивала на коленях.

Нину готовили принять «крещение водой», почти каждый день к ней приходила сестра Катерина — тучная, дебелая женщина, с глазами — черными пуговками, утонувшими в морщинистых щеках, — и учила девушку обычаям, законам секты. Нина ждала этого дня с искренней, трепетной верой в то, что вместе с крещением придет к ней покой, бог возьмет ее под свою защиту и не будет больше страха, суетных мыслей о мирском, мелочном. Она молилась, молилась...

Давным-давно Нине пришлось пережить жуткие минуты. Она купалась вместе с подружками на Москве-реке. Было солнце, игры, голубые брызги воды, зеленые неподвижные кущи деревьев, смех. Было так, как всегда должно быть в детстве. Нине вдруг захотелось побыть одной. Она легла на спину, и течение понесло ее вниз по реке. Девочки кричали:

— Нина, не надо так далеко!.. Вернись!..

Но она не отвечала им и смотрела вверх, щуря глаза от света, на белые легкие облака, которые плыли вместе с ней; вода плескала тихая, ласковая, и казалось, одно лишнее движение может разрушить всю эту спокойную красоту.

Неожиданно вода стала холодной, течение стремительно понесло Нину в сторону, закружило. Упали вниз неслышные облака — омут! Минуты две, а ей думалось вечность. Нина боролась с течением, а оно тянуло ее в глубину, обволакивало руки свинцовыми путами. Она хотела закричать, но задохнулась — и не было уже сил бороться. Река стала упрямой, упругой, как наполненный ветром парус. Ломило от напряжения мышцы. Мелькнула мысль: «Бесполезно!.. Не выплыть. Надо расслабиться, куда-нибудь вынесет!» И мысль эта показалась Нине простой, почти счастливой: по крайней мере не надо будет поднимать руки, когда их невозможно уже поднять. Голова закружилась, и тут Нина больно ударилась обо что-то локтем. Боль эта помогла ей прийти в себя, и, собрав

все силы, она опять заставила себя плыть туда, к деревьям, которые по-прежнему спокойно смотрели в воду.

Позже на берегу минут десять, не меньше, ее бил нервный озноб. Не стукнись она локтем о то бревно, черное, скользкое, которое до сих пор крутится там, в водовороте, жизнь кончилась бы...

Тогда впервые Нина узнала чувство беспомощности, слабости.

С тех пор она не любила плавать. Жутко было даже вспоминать омут, с его мягкой и беспощадной силой.

...То, что она переживала сейчас, было странно похоже на этот давний случай. Где-то в глубине души Нина знала, что нельзя — нельзя! — подчиняться неумолимой власти людей, окружающих ее. Иначе — гибель. Но не было сил сопротивляться. Нина думала: «Пусть... Все должно кончиться хорошо. Надо расслабиться до конца, будь что будет». И так же, как тогда, сознание своей беспомощности успокаивало. Это было как болезнь. Но в то же время — быть может, только лишь для того, чтобы еще раз убедиться в правоте своей слабости, — Нине постоянно хотелось увидеть, почувствовать что-то иное, здоровое, сильное. Пусть даже ей от этого стало бы больно. Возможно, именно поэтому она сдружилась в последнее время с Верой Тархиной, своей соседкой. Эта женщина и отталкивала и тянула ее к себе.

Из своего окна Нина видела некрашеный покосившийся забор вокруг дома Тархиных и сквозь него — тесный двор, заваленный сугробами снега, в которых были не расчищены, а протоптаны тропинки к крыльцу. Под открытым небом высился за забором белой шапкой раздерганный стог сена. Иногда было видно, как Вера в одном платье, только пуховая шаль накинута на плечи, целыми днями бегает от дома к сараю, на зады, в огород, носит ведра с помоями, охапки сена. И было приятно смотреть на ее плавные уверенные движения.

Но в иные дни с утра до ночи двор был пуст. Мычала в сарае корова. Нина знала: Вера лежит сейчас

на неприбранной постели в платье, а может быть, даже в ночной рубахе — не вставала с утра. Лежит и смотрит пустым взглядом в потолок, голая полная рука закинута за голову, волосы нечесаны. В такие дни Василий ругается: «У-у, студень!..»

Вот и вчера было точно так. Нина вошла к ним — дверь оказалась открытой — и, едва разглядев в темноте белое пятно на кровати, привычно упрекнула:

— Опять хандра всемирная? — Зажгла свет. — Хоть бы причесалась...

Ничего не ответив, не взглянув на нее, Вера встала на пол, потянулась, рубашка упала с плеча; она не стала ее поправлять, зябко поежилась. В избе было нетоплено. Вера босиком неторопливо подошла к окну, безразлично глядя на льдистые перья куржака, облепившие стекло. С улицы едва пробивался желтый искристый свет.

Нина присела на стул. Минуты две они молчали.

— Скотине-то что вынести? Давай я схожу.

— Ах, отстань ты! — вдруг зло, но устало ответила Вера и протянула к ней руки. — Ну что ты плачешь надо мной? Ну что?

Руки упали, белые, бессильные.

Вера смотрела в окно. Городок зажегся огнями. Где-то далеко дома ступенями улиц взбирались на сопки, но сейчас ни сопок, ни домов не было видно, в темноте висели лишь огоньки. И казалось, что там стоят высокие-высокие здания, их бесчисленные этажи подымаются в небо. Там какая-то иная жизнь, и, наверно, в зданиях этих живут счастливые люди. Мигали, вспыхивали, дразнились огоньки...

Вера заговорила опять, и неожиданно в голосе ее зазвучала обида, а затем она сменилась злобой:

— Хоть бы сдохла эта скотина!.. Кому она нужна? Кому все это надо? Мне?.. Вон, — она кивнула на стол, где лежали на клеенке высохшие куски хлеба, сморщенные соленые огурцы, — мне хватит. Ваське? Ему это...

Она грязно выругалась и засмеялась.

— Вера!

— Что «Вера»! Грех, да? — крикнула она и опять,

скривив полные губы, засмеялась и повернулась резко, опершись руками о стол, склонилась к девушке, зашептала быстро: — Грех? Ха! Перед кем? Перед богом? А где он, бог? Ты видела его? Помог он тебе? Что же ты высохла, побледнела — смотреть на тебя страшно! А ведь девка была — сладкий ломоть, а? — Она хихикнула злорадно, скользнула у губ вызывающая улыбка. — А вот я не сохну!

Она и правда была красива так, словно сама постоянно волновалась от этой своей сочной, ядреной красоты.

— Вера! — с мольбой крикнула Нина.

— Что «Вера»? — Та тоже повысила голос, но тут же опять перешла на шепот, язвительный, страстный. — Может, перед Родионом грех? Или перед этой твоей Катериной? Как же! Учит тебя: «Мы честны, мы не ругаемся, водку не пьем, не развратничаем...» А ты у нее спроси: на что они живут с мужем? Оба не работают и дом новый построили. Посланник писал: «Дома нельзя строить», — а она построила. На какие шиши?! На наши денежки! Мы жертвуем на «обездоленных, пострадавших». Как же! Пострадавшие!..

— Вера!

Но она не слушала Нину.

— А Родион? Ты знаешь, что он с Танькой Лазаревой живет? Ты знаешь, что он мне предлагал?

— Вера, перестань! — Нина встала, бледная, камвольный бабий платок сдавил ей горло. И, наверно, столько ужаса было в ее глазах, что Вера, взглянув в них, вдруг вздрогнула, сразу обмякла, привалилась к столу.

Они молчали минуту. Нина тяжело дышала.

— Господи, прости нас, грешных, — серьезно проговорила, наконец, Вера.

Нина удивленно взглянула на нее, но не увидела в ее глазах ничего, кроме прежней слепой пустоты. Повернулась и выбежала из избы, громко хлопнув дверью.

...Дома тетка сказала про Веру словно бы невзначай:

— Бог ее наказал за неверие: ребенка им не дал. А она смириться не хочет, вот и мечется.

Ох, тетка Мария! Ведь Нина ничего не спрашивала, слова не обронила, а она будто бы знала, что у нее на душе. Может быть, и она все-все делает, говорит нарочно, с расчетом? Ушла в горницу, возится там и молчит: разбирайся сама, мол... А сестра Катерина? Неужели правда это?.. Нет, грех даже думать так, грех!.. И какой же расчет у тетки? «Спаси душу ближнего, и бог простит тебя...»

Никак не вырваться из паутины готовых, липких, звучных фраз. Нет, у тетки Марии все от сердца, от веры. Веры?.. А у Веры нет искренности?..

Ее внезапно поразило сочетание этих слов: у веры нет искренности... Если закрыть глаза на многое-многое, то будет вера. Так, наверно, и есть у тетки Марии. Всякая вера смотрит на мир предвзято.

Мысль эта показалась кощунственной.

Нет, не может быть! Тархина лжет, лжет! Про Катерину, про Курбатова, про всех. «Слепота безумия закрыла очи их...» Тархина, а не тетка слепа.

«Спаси душу ближнего твоего, и бог...» Нет, Нина пойдет к ней еще и еще, не ради себя, а для нее.

10

Наступила весна. В этом году она выдалась ранняя.

Тепло приходило порывами, на земле еще лежал снег, и по утрам прихватывал морозец, но вчера и дня два назад шел дождь, по-осеннему тихий, тягостный. Серебрянка, речка, которая спускалась с гор в поселок и незаметная петляла меж его домами, улицами, все больше по задам, пустошам, вскрылась. Ледоход прошел ночью, неслышный, и никого, должно быть, не разбудил в городке. А потом опять ударил мороз.

Было раннее утро. Ночная темень едва заметно рыхлела. Нину, а с ней еще двух женщин, «обращенных в веру», вели к реке — «крестить водой». Они шли рядом: Нина, Таня Лазарева, пухлая, сонная,

с белесой челкой на невысоком лбу, и незнакомая Нине женщина, изможденная, с черными настороженными глазами, — она все вздрагивала: от холода, что ли?

Улицы были пустые и скользкие. Впереди шагал в длинном, до пят, брезентовом армяке Родион Курбатов. Замыкали шествие еще пять или шесть женщин — «поручительницы». Никто не говорил ни слова, слышно лишь было, как шаркают, спотыкаются в темноте ноги.

Нина поскользнулась и, наверное, упала бы — так слаба она была, — если бы сзади не поддержала ее за локоть сестра Катерина. Нина оглянулась и взглядом, улыбкой поблагодарила ее, но та будто не заметила, глаза ее, обычно ласковые и быстрые, глядели торжественно-строго. Нина смутилась.

Три последних дня она ничего не ела, постилась. Надо было пройти через это испытание плоти, чтобы полностью отрешиться от всего земного.

Вчера вечером ее привели в какую-то комнату, совершенно пустую, даже стульев в ней не было; пристально смотрели голые стены. На подоконнике горел одинокий неяркий фитиль лампы. Была в этой пустоте атмосфера ожидания: вот-вот должно что-то случиться. Вошли тихо, без шороха Курбатов и еще двое, невидимые в сумраке.

— Радуйся, Нина, — негромко сказал Родион Алексеевич, — было этим двум сестрам великое видение о тебе...

— Воистину великое, — подтвердила одна из двух голосом Катерины.

— Видели они тебя распростертую ниц на земле, ищущую. А нашла ты в опилках живого младенца: в трухе мирского обрела веру в бога нашего. И вера эта будет расти в тебе, как растет ребенок желанный. Радуйся!.. Встань на колени и исповедуйся в грехах своих, что совершила после крещения святым духом, чтобы отбросить их напрочь, забыть.

Грехов у Нины было много: она ходила в горком комсомола и до сих пор думает о Степане, сомневалась в искренности тетки и сестры Катерины, слушала

дьявольские речи сестры Веры, скучно Нине, тягостно, и не может она найти забвения от себя. Но смогла сказать Нина лишь одно:

— Трудно мне, боюсь я...

Сейчас ей было все безразлично, и говорить не хотелось. Боли в желудке, такие острые еще вчера, утихли, во рту пересохло, и язык, громадный, не двигался.

— Чего же ты боишься?

Нина молчала.

— Себя тебе страшно, — догадался Курбатов, — прошлого своего.

Нина вздрогнула: как верно он сказал! Ей стало жутко. И тетка, и вот он еще, и все они знают каждую ее мысль, никуда не спрячешься от них — от бога.

Пресвитер говорил ей ласковое, но она не слушала и мысленно просила уже не бога, а Курбатова: «Прости меня, прости!..»

Потом ее увели из комнаты, сняли с нее платье, белье и на голое тело надели длинную белую рубаху. Велели накинуть пальто.

...Приближался рассвет. Стали белыми стены домов, гасли звезды. Подул ветерок, потеплело. Почему-то истовое настроение, возникшее несколько часов назад на исповеди, опять исчезло. Хорошо было идти, ни о чем не думая, слушая лишь запах сырой, талой земли. Молчаливые фигуры, окружающие ее, на мгновение показались смешными.

Цепочка домов, заборов внезапно оборвалась: они вышли к Серебрянке. Глинистый берег ее был обрывист и пуст. Торчали из воды два больших камня, на них лежала черная доска.

«Наверно, здесь бабы белье полощут», — успела подумать Нина.

Рядом с ней сладко зевнула Татьяна Лазарева.

Родион Курбатов скинул армяк и оказался тоже в длинной белой рубахе. Зачем-то подобрав подол, так что видны стали высокие резиновые сапоги, он, не оглядываясь, ступил в воду и отошел метра на три от берегов. Серебрянка бормотала чуть слышно и сердито.



Воздев руки вверх, Курбатов сказал громко, отчетливо:

— Да будет благословение божье с нами!

«Поручительницы» пошептались и подтолкнули к берегу Татьяну Лазареву. Та неуверенно шагнула вперед, оглянулась и зябко поежилась. Медленно сняла пальто и, тронув ногой в ботинке воду, тут же отдернула ее. На лице девушки был испуг.

А Нина вдруг вспомнила то, что говорила о ней Вера Тархина. И сразу же остановила себя: «Грех так думать, грех!..» Попыталась молиться. Но все происходящее слишком походило на какой-то нелепый фарс. Повизгивая жалобно и тихо, как обиженная, но преданная хозяину собачонка, Лазарева, наконец, вошла в воду. Пресвитер, говоря что-то неслышное, положил ей руку на непокрытые волосы. С берега перебили его:

— Голову-то не кунай, не надо.

Но он, сильно надавив рукой, погрузил девушку в воду с головой. Мокрая, дрожащая, с обезумевшими глазами, чуть ли не бегом она бросилась к берегу. Ее увели.

Нине стало жалко Лазареву. Она думала растерянно: «Зачем все это?..»

Всхлипывая, в воду вошла незнакомая Нине женщина: она, прокричав что-то невнятное, сама припала к коленям Курбатова; притихшая, вернулась на берег.

Когда Нину ввели в речку и потом, когда она быстро шла домой, она думала лишь одно: «Какая холодная вода!.. Ну и пусть! Какая холоднющая!.. Серебрянка... Красивое слово «Серебрянка». Серебро всегда холодное. Какое холодное!..»

Дома тетка Мария крепко растерла ее спиртом и уложила в постель, накрыв двумя ватными одеялами. Нина согрелась и тут же забылась во сне.

Проснулась она словно от толчка. Стрелки на ходиках показывали половину девятого. Было темно, словно и не наступал день. Тихо. Видно, тетка и дядя на собрании. Впрочем, дядя сегодня в ночной смене.

Хотелось есть, и Нина выпила полную миску бульона, стоявшую на столе, без хлеба, спеша. С последним глотком почувствовала, как живот свело болью. Вскоре боль утихла, голод прошел.

Сквозь стекло было видно, что окна в доме Тархиных освещены. Нина покрыла голову платком и вышла.

...Она остановилась на пороге. Вера в ярком платье сидела на кровати, поджав ноги и положив подбородок на колени. Василий — спиной к двери — развалился на стуле. Нине были видны лишь его курчавый плотный затылок, кончик носа, острый кадык и ноги в грязных кирзовых сапогах. Он пел:

Эх, давай, давай, давай,
Да не задерживай!

Музыки никакой не было, и голос его, одинокий и пьяно-старательный, в тишине комнаты показался Нине до странности нелепым.

Вера смеялась, откинувшись и приподняв в воздух босые ступни. Она, наконец, взглянула на дверь.

— Нинка? Проходи, монашенка ты моя! Да закрывай же дверь!

Василий повернулся живо, встал.

— Соседка! — удивленно и радостно воскликнул он. — Представитель совконтроля! Садись, гулять будем!

— Да я... — растерянно начала было Нина, но он, не слушая, взял ее за плечи и подтолкнул в угол к столу, на котором лежали на боку два пустых поллитра и стояли тарелки с грибами, капустой, огурцами и еще чем-то.

— Сейчас за водкой сбегаю! Мигом!

Василий сдернул с гвоздя над головой Нины телогрейку и, одеваясь на ходу, шагнул в сенцы. Слышно было, как взвизгнула калитка.

— Ну, все. Завился сокол, — сказала вдруг грустно Вера.

Она как-то нехотя опустила ноги на пол, сунула их в ботинки на микропорке, пошла, пошатываясь, через комнату к столу.

Нина только тут пришла в себя. Спросила шепотом:

— Вера, и ты тоже?.. — она не смогла выговорить «пьяная».

А та, не слыша ее, села, уронила голову на стол. Округлые плечи ее, обтянутые синим шелком, вздрагивали.

— Приехал сегодня из области, — не поднимая головы, скучно, словно надоевшее, начала рассказывать Вера. — Хотел ребенка в детдоме взять. Не дали, говорят: «Пьешь ты». Все разведали, узнали. — Она взглянула на Нину и добавила с горечью: — А он, может, и пьет-то из-за этого! Так почему же это не узнали?

— Откуда же узнали? — спросила Нина.

Вера молчала.

— А самим, что же... нельзя?

Тархина вдруг засмеялась хрипло. И так же внезапно умолкла. Встала. Упал стул. Не повернувшись к нему, Вера подошла к окну, прислонилась плечом к раме. А за окном, как всегда, горели в ночи огни, мигали, звали куда-то.

— Мала ты еще, Нинка, ничего ты не понимаешь, — голос ее стал по-прежнему усталым. — Ну да пусть!.. Могли и сами. Беременела я, да только в девках еще. Ох, и сохла я тогда по нему! Веселый был и не пил вовсе. Ну, пил, как все парни, с получки. Немного. И только... Думала: «Уйдет, бросит. Лучше себя извести, а удержать». Он и не знал ничего!.. Пошла к тетке Марфе — тут у нас старушка была одна, пользовала. Четыре сотни — и слова не проронит. Говорит: «Поздно». А я свое: «Делай!» Ну, и вот сделала! Что-то испортила во мне Марфа. Всех врачей потом объездила и в области была. Двум богам молилась: в церкви и у Родиона. — Она передразнила сама себя: — «Господи боженька, помоги мне ребенка завесть»... Куда там!.. Бог человеку не помощник...

Почему-то Нину не возмутили, даже не тронули эти слова. Она слушала, и было ей до слез жалко Веру.

— Ах, мала ты еще, Нинка! — опять сказала Тар-

хина. — Не поймешь, каково-то нам — не молоды ведь, листики желтые облетают — без семьи... Мне-то что! Я ради Васьки и пробедую. А у него иначе: не может человек ради себя жить. Я-то вижу, он ни разу слова об этом не вымолвил, а я-то вижу... Нет, один раз сказал: «Вера, — говорит, — ничего бы не надо, только бы хоть раз в жизни пройтись по улицам с сыном и чтоб он болтал что-нибудь свое, глупое, упрашивал меня, а я бы все, что знаю, ему рассказывал про шахты, золото, про зайца в тайге, про солнце... И чтоб за руку его держать, сына своего, кровь свою!» Только раз и пожалился, а так молчит. Ведь он уходил от меня, два раза уходил к другим, а потом возвращался. Я и сама просила: брось, иди, — так нет, прилепился душой, словно лебедь к подруге. А какая из меня лебедушка! Чудак... — Вера засмеялась и закашлялась сразу. Это похоже было на плач.

— Ты бы работать пошла, что ли, — с упреком сказала Нина.

— Работать? — Она повернулась резко и взяла себя руками за полные груди снизу. — А это куда? Это куда девать? — и пошла вперед, грудью на Нину. Глаза ее стали игриво-масляными, а голос насмешливым.

Вера остановилась, опустила руки, сказала зло:

— Васькина я, и ничья больше!.. Э, да не поймешь ты!.. Васькина! А ты — работать!..

До этой минуты Нина ни о чем не думала — просто было ей жалко Тархину, но в то же время что-то протестовало в ней против Вериных слов, против нее самой — пьяной, бесстыдной. И пришла в голову простая мысль: «Если права Вера, вот такая вот, — значит она, Нина, безнадежно, безвыходно запуталась! Ведь двух правд не может быть? Нет, правда всегда одна. Стало быть?..»

Нина встала и, боясь разрыдаться, сказала как можно жестче:

— Больше я к тебе никогда не приду!

И пошла к выходу. Она еще слышала, как Вера проговорила с давешней злостью:

— Эх, ты, монашка-глупышка!..

...На следующий день Нина увидела Тархину на молитвенном собрании: строгий взгляд, губы на бледном лице подчеркнуто алые. Вера молилась, как и все, пела. И это лучше всяких слов убедило Нину в своей правоте.

Они даже не поздоровались.

11

И сейчас, когда стало тепло, сторож дед Андрей продолжал наведываться к Нине. Садился на свое место — у печки, теперь холодной, молчал минут пять и начинал что-нибудь рассказывать. Странно, ни разу он не повторялся в своих историях. Нина иногда думала: «Сколько же он видел всего!.. Это жизнь!..» Но однажды, подумав так, она вдруг почувствовала неприязнь к деду, даже не поняла почему. Но сказала:

— Ах, деда, опять вы меня заговорили! Кто-то прошел, а я и пропуск не спросила.

Она сидела к нему спиной. Дед Андрей покосился на Нину своим единственным глазом и замолчал. Он начал было рассказывать о своем отце, с которым виделся всего три раза. О нем он редко кому говорил... Он был еще мальчонкой, когда отца за что-то забрали и выслали, поэтому и пришлось Андрею ехать к дядьке на шахты. А потом отец вернулся домой, Андрей узнал это и... Тут и перебила его Нина.

Они молчали. Нина подумала: «Ведь я не то сказала. Он совсем не мешает мне. Нет, мешает! Не работе, а мне».

Пожалуй, это было правдой. После той ссоры с Верой Нина осталась одна. И здесь, на работе, и дома. С дядей и теткой говорить ни о чем не хотелось. Да и о чем говорить?

Раньше Нина знала: «Если что-либо захотеть сильно-сильно, то это обязательно исполнится». Она загадывала, думала все о том же самом и ждала: исполнится или нет? Это было своего рода игрой. Но, как-то вспомнив про нее, она увидела, что сейчас ей

вообще нечего хотеть. Ну, совсем нечего! В первую минуту она растерялась: «Как же так? И что же, все время так будет, всю жизнь?..» Но тут же решила: «Так даже лучше». Зато ей известны радости, которых не знают другие. Вот вчера, например, хор на собрании как-то особенно хорошо спел про человека с двоящимися мыслями. И поэтому сегодня достаточно ей вспомнить звуки песни, как становится вдруг покойно, легко. Человек должен радоваться малому в себе, а все остальное — случайное, ложь. Для этого надо быть постоянно наедине с собой. И не надо задавать никаких вопросов. Так лучше. Чем хуже, тем лучше!

Это была очередная игра, выдуманная Ниной. Было в ней что-то похожее на то чувство, с каким маленькие ребята ковыряют незажившую болячку: и больно и сладостно.

...Дед Андрей молчал еще долго. Казалось, он ждал чего-то, потом встал, притопнул залатанным валенком (он до сих пор ходил в валенках), оглядел его и сказал слишком уж бодро:

— Эх, ходуны мои поистерлись!.. Пойду я, дочка. Дел сегодня полно всяких!..

Какие там у него дела?

Ушел и с того дня стал заходить в проходную реже.

Несколько раз забегали знакомые ребята с шахты и звали Нину то на воскресник, то еще куда-то. Но она всегда отказывалась. И теперь, сидя у своего окошка, могла спокойно читать библию, евангелие, переписывать стихи, которые приносила домой тетка Мария или Катерина. И знала: никто не помешает ей.

...В середине мая морозы опять кончились. Тепло пришло неожиданно, в одну ночь. Утром, когда Нина шла на работу, солнце было совсем летним. Нина распахнула все три двери, которыми она командовала: на улицу, во двор шахты и в свою каморку. Было приятно сидеть на табурете, поджав под себя ноги, и чувствовать, как теплый воздух гладит босые ступни: туфли она сняла. Нина читала историю про Каина и

Авеля. У Евы и Адама родился первый сын. Ева думала, что это тот, кого бог обещал людям прислать на землю во искупление их грехов, — Спаситель. Поэтому она назвала его Каином, что значит «приобретение». Но прошло время, и Ева увидела, что обманулась в своей надежде, и второго сына назвала Авелем, что значит «суета».

Кто-то легко взбежал по ступенькам. Нина не подняла головы; краешком глаза косила на приполок у оконца, ждала, пока на него положат пропуск. Шаги замерли рядом, но пропуска не было.

— Нина!

Не может быть! Она подняла глаза, еще не веря своей догадке, и увидела... Степана. Да, это был он! Точно такой, каким она когда-то представляла его себе: в шинели — она распахнута, и видна гимнастерка с белым подворотничком, — улыбка, застывшая, смущенная, согнулся перед окошком, шинель — горбом на спине, и глаза его, Степановы, голубые, а в них мучительное ожидание. Нина спрыгнула с табуретки, подбежала к двери, хотела шагнуть туда, к нему, но вдруг захлопнула дверь, прижалась к ней спиной.

Шаги раздались ближе.

— Нина! — голос его был глухой.

— Как ты здесь? Зачем?

— Вот приехал... Искал, искал... В горкоме комсомола мне все рассказали...

С минуту они молчали.

— Открой.

— Нет, нет!.. Только не сюда! Если хочешь... приходи домой вечером.

И опять долгое молчание.

Потом она услышала, как шаги его медленно простучали к выходу. Она осталась стоять, прижавшись к двери. Сколько прошло времени, Нина не знала.

Чей-то голос сердито окликнул:

— Эй, дежурная, возьмите пропуск! — и чья-то рука положила маленький белый листок на ее книгу у оконца.

...Дома она отказалась ужинать и, ничего не сказав больше тетке — Мария Антоновна спешила в магазин, — прошла в горницу, села на лавку под окном, в дальнем углу, положила перед собой раскрытую книгу. За весь день она так и не дочитала эту историю про Каина и Авеля.

Ненависть привела Каина к страшному греху: он увел Авеля в поле и там убил его. Господь надеялся еще, что он покается, и спросил Каина: «Где Авель, брат твой?» Но тот ответил: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?..»

Кто-то стукнул дверью... Нет, это дядя вернулся с работы. Раздевается, кашляет.

«Ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои принять кровь брата твоего от руки твоей. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле».

Каин ужаснулся. Он боялся, что теперь всякий, кто встретится с ним, сможет убить его. Но бог ответил: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро!..»

Сестра Катерина говорила ей как-то, что эти слова означают: человек не имеет права мстить за себя, право воздаяния принадлежит одному лишь богу.

Снова стук в дверь. Нина не знала, хочет или не хочет видеть его. Да, это он. Его голос, спокойный, спрашивает:

— Извините, здесь живет Нина Минакова?

— Здесь, — дядя удивлен.

— Я из Москвы. И вот ищу ее.

— Так вы, наверно, Степан? А-а!..

Чему он радуется?

— Да, это я.

Ох, Степан, всегда он спокоен, даже голос не дрогнет! Как давно все это было!.. Что ж, она тоже будет спокойна. Назло.

— А она дома?

— Как же, как же! Нина! Ты что там? Гость к тебе!

Не торопясь, Нина отдернула ситцевую занавеску

между печью и стеной. Степан стоял у двери, в шинели, с чемоданчиком в руках. Опустив глаза, Нина сказала:

— Здравствуйте.

— Здравствуй.

— Как доехали?

— Спасибо, хорошо. Как... вы здесь живете?

— Да, что же вы стоите? — заговорил дядя и засуетился: — Раздевайтесь, проходите, коли уж приехали. Раздевайтесь! Вот так... Одежку — у порожка, чемодан — сюда, в уголочек. Я повешу сам! Проходите, садитесь!

Они сели и замолчали.

— Ну, как Москва? — спросил, наконец, дядя.

Степан поднял голову. Светлые волосы ежиком: наверно, еще не успели отрасти. Лицо прежнее, скуластое.

— Москва как Москва! — отмахнулся он от вопроса. — Я демобилизовался, отслужил и решил приехать сюда. Мы ведь с Ниной еще до армии решили пожениться, вы это знаете?

Он ведет себя как хозяин. И сидит, будто у старых знакомых: ноги плотно поставил на пол, локоть на столе, чуть ссутулил плечи. Странно, но эта самоуверенность его, в которой была какая-то непонятная Нине сила, всегда нравилась ей, хотя порой и злила. Вот как сейчас.

— Знаю, как же, — дядя опустил взгляд.

Глаза у них одинаковые. Только у Степана ярче. И упрямее!

Надо было что-то сказать ему. Ну, хоть предложить остановиться у них, что ли. Но разве дядя сделает это без тетки!

На счастье, тетка Мария вскоре пришла и, познакомившись со Степаном, сказала сухо:

— Что ж, поживите у нас тройку дней, а там видно будет.

За ужином почти не разговаривали, только Степан вдруг спросил грубо:

— А ты или не рада, Нина? Или другого нашла?

Она с едва заметной обидой выговорила:

— Ты как будто тоже переменился... Словно в свой дом приехал. Как хозяин. Армия этому научила?

Они долго смотрели друг другу в глаза. Дядя Андрон опять заполнил молчание, пробормотал смиренно:

— У всех один жених — бог. А женятся у нас только на своих же, сестрах...

Легли спать.

Степану постелили на Нинином сундучке, а ей — в горнице на лавке. Через стенку, рядом. И такие далекие! Встать бы, прийти к нему, обнять, прижаться грудью, чтоб он знал: вот она я, твоя Нинка, прежняя; неважно, что писала я, ничего неважно, ведь мы опять вместе!.. Нет, Степан другой стал, хмурится, обижен. Эх, знал бы он, сколько она вынесла без него. Да как он смеет!..

Но ей вспомнилось: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро!..» Человек не может мстить, право воздаяния принадлежит лишь богу. А она что же, мстит? Степану? Да, раньше тоже бывало так: если Степан обижал ее чем-либо, она могла днями не разговаривать с ним, чтоб он почувствовал, понял свою вину. Так нельзя. Нельзя. Теперь она понимает это.

Тишина. Слышно только, как дядя мирно посапывает. Нина встала, ступая тихонько босыми ногами, подошла к занавеске в кухню. Остановилась на мгновение — и, как в воду бросилась, — вошла к нему. Он сидел на сундучке одетый. Ждал. Ждал ее. Встал навстречу, руки протянул.

— Не надо, Степан, не надо. Сядь.

Он сел.

— Ты пойми меня, Степа, не могу я. Все изменилось. Я дала обет никогда не выходить замуж.

Он скривил насмешливо и зло губы.

— Разлюбила, вот и... Скажи уж прямо.

— Нет!.. Не надо мне никого, кроме тебя, а ты...

Даже в темноте видно было, как менялось выражение глаз Степана: то недоуменные, то колючие, то радостные, растерянные.

— Не понимаю я, Нинка, что ты хочешь, чего

тебе надо? Вот же я, это я, твой Степан, или не узнала? Может, обиделась за то, что я так... — «Армия научила», — вспомнил он ее слова. — Армия одному научила: дисциплине. Если бы еще где был, убежал бы, бросился сломя голову. Телеграммы, письма тебе — а в ответ ни строчки. Не знал, что и думать, но уж такого и подозревать не мог. А ты... обижаться! Да каково мне все это, неужели не понимаешь! — взял ее за плечи. — Нина!

— Не надо! Не надо, Степан! Уезжай, лучше уезжай. Мне спокойно было, и вдруг... — и сама не хотела, но выговорила: — Только три дня, тетка сказала: три дня, вот и поживи их, хоть их.

— Нина! — раздался сзади голос Марии Антоновны, она стояла в дверях. — Спать.

Руки опустил Степан. Нина послушно повернулась, молча ушла в горницу. Тетка — за ней.

...Три дня. Они показались Степану тремя месяцами. И было такое ощущение, что все это время топтался он у высокой, каменной, глухой стены. И надо пройти сквозь нее — и не может. Хоть лбом бейся!

Ему никак не давали остаться с Ниной вдвоем. Ее дядя и тетка тоже молчали: наверно, считали, что им неудобно вмешиваться. Ему оставалось говорить лишь с сестрой Катериной — эта здесь торчала целыми днями. При знакомстве она пропела:

— Какой красивый! И голубоглазый! Стало быть, сердце доброе у тебя, соколик, уж я вижу...

В таком тоне она и вела разговоры все три дня, будто и в добром, но насмешливом. Только однажды искренне и деловито предложила:

— Живи здесь, заслужи у бога, чтобы приняли тебя в секту, только тогда, быть может, позволит он снять с Нины обет...

И взглянула на него острыми как буравчики глазами.

— Ведь нельзя нам по закону божескому выходить замуж за неверующих. Грех это.

— Вы с ума сошли! На кой черт мне ваш бог нужен!

Катерина опять заохала, запричитала жалостливо:

— Ох, соколик! Зачем такие слова говорить? Сегодня не веришь, а завтра, глядишь, ан и поверил. Стыдно потом будет себя вспоминать!.. Все мы под богом ходим, все ему подвластны. Вот послушай, что я тебе расскажу. Было у Иакова пять сыновей, а самый любимый из них — Иосиф...

Дальше начиналась уже совершеннейшая ерунда: братья продали Иосифа в рабство в Египет, он там отгадывал какие-то сны, спекулировал зерном в голодные годы, стал любимцем у фараона, спас своих братьев — и так далее и так далее. Степан никак не мог понять: зачем ему все это слушать?

Ему все еще казалось невероятным, что Нина может всерьез верить в подобные басни. Ну, ладно, тетка Мария, сестра Катерина, быть может, верят, но ведь Нина!..

На второй вечер в их доме было собрание секты.

— Пришла к нам очередь, — объяснила Нина.

Степану не сказали ни уходи, ни оставайся, и он остался.

Кто-то читал проповедь, из которой Степан не слышал ни слова, пели псалмы, кто-то рыдал в углу, потом эти люди кричали исступленно и жалко — Степан видел одну Нину. Она сидела в первом ряду: осунувшееся строгое лицо, окаймленное черным платком, прямая спина, руки сложены вместе, не двигаются. Она первая запевала псалмы и пела их на память, не заглядывая в книгу, лежавшую на коленях. Но больше всего поразили Степана ее глаза: черные и словно остекленевшие, они неотступно искали взгляд проповедника. И когда все кругом начали молиться, причитая, выкрикивая, торжествуя и плача, глаза эти стали радостными.

Степан выбежал на улицу, растолкав в дверях сгрудившихся потных людей. Он попал куда-то к речке, долго — может быть, полночи — ходил вдоль берега и никак не мог успокоиться. Думал, что он может сказать Нине, и понимал: все слова будут бесполезны.

Утром, едва Нина и ее дядька ушли на работу, Степан уложил в чемодан вещи, поставил его у по-

рога и, ничего не сказав Марии Антоновне, молча следившей за ним, вышел.

Через пять минут он был у шахты. Протопав сапогами по ступенькам проходной, краешком глаза заметил лицо Нины в оконце, прошел дальше и распахнул дверь в ее комнату.

Нина встала навстречу ему, в глазах ее было ожидание.

— Нина, я уезжаю сейчас.

Она опустила взгляд. Ответила тихо и спокойно:

— Всего доброго...

Он ждал.

— Больше ничего и не скажешь?

— Ты ведь говорил с сестрой Катериной?

— А ты? Ты сама ничего не скажешь?

— Нет.

— Нина, уедем отсюда! Сейчас же!.. Завтра, когда хочешь. Если надо, я задержусь.

Она ответила, быть может, чересчур поспешно:

— Нет!

Степан повернулся и быстро вышел.

12

В Ачинске ему надо было делать пересадку. Никак не мог закомпостировать билет. В вокзале битком народу. Под потолком слоистый, витиеватый дым. Милиционер, сам не веря своим словам, уговаривает:

— Нельзя здесь курить, пройдите на улицу.

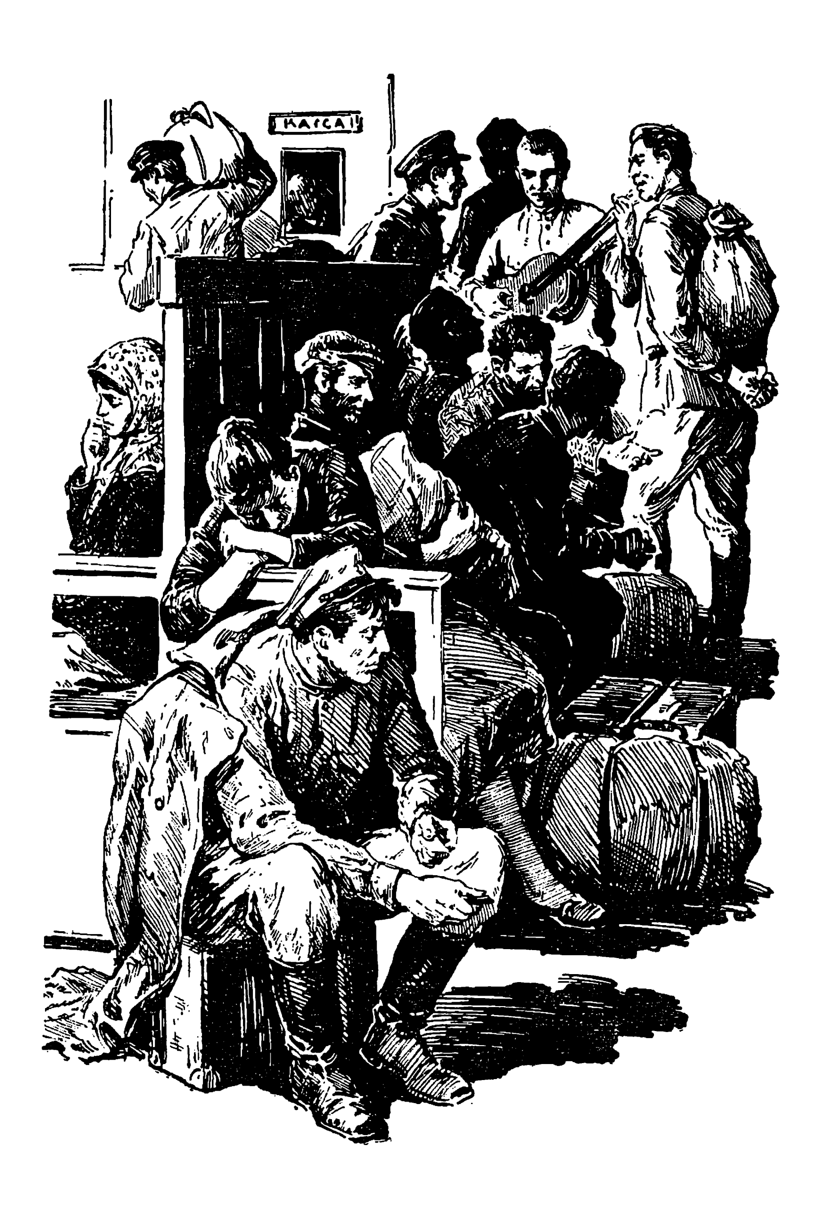
Никто его не слушает.

Сидят на ребристых лавках, на чемоданах. Изныли от ожидания (поезда уходят переполненные), убегались в хлопотах, махнули на все рукой.

Те, кто приехал сегодня или вчера, еще толпятся у квадратного в коричневых планках окошка кассы, требуют:

— У меня же транзитный!..

— Двое ребят... закомпостируйте!..


КАССА

— Вы понимаете, что я в командировку опаздываю?..

Кассир, полная женщина, на седых волосах — фуражка в неумолимо красном околыше, молчит, даже не смотрит.

Сидят, мнут окурки. Иногда кто-нибудь вскочит вдруг, ошалелый, перепрыгивая через ноги соседей, бросится к выходу, на утренний морозец, к синеве несогревшегося, в дымке неба.

— Вася! — кричит ему вслед баба на чемоданах. — Глянь, ларек не открытый? Ситра ребятам купи!..

Парень, щербатый добряк, улыбается, укачивает на руках грудного сына, поет:

— Как у Коли на именинах испекли мы каравай!..

Спит рядом на лавке, завернувшись в пальто, жинка.

...Маленькая, прежде безвестная станция. Что случилось с ней?

В дальнем углу, где совсем сизо от дыма, стайка демобилизованных, краснощеких. Хохочут, басят на весь вокзал. Один бренчит на гитаре.

— Эх! — хлопнул он вдруг себя по бедру, простучал в такт перепляса и замер картинно. — Построим ГРЭС, ребята? Построим! Нам ли терять калоши на женских собраниях!

Опять гитара неторопливо жалобится.

Неподалеку от демобилизованных дремлет на чемодане нескладный, угловатый человек в сером, выстиранном дождями плаще. Рядом лежат на полу две связки деревянных папок — мольберты, кисти. Художник. Прикрыл лицо помятой шляпой.

А чуть сбоку на лавке — двое в ярко-желтых ботинках. Видно, сошлись в дороге, потому что один, в зимнем пальто с рыжим воротником, рассказывает:

— Приехал я в этот алюминиевый комбинат, думаю: «Если в торговле, то я и на шестьсот-восемьсот согласен... Без них сыт-пьян буду. А может, диспетчером. Сутки отработал, двое гуляй...» Говорит: «Хочешь, иди в бригаду каменщиком, каменщики нам

нужны». А на кой черт мне каменщиком? Да я даже в Красноярске самом лучше работу найду. Там сейчас, знаешь, строек сколько, у-у!.. Весь правый берег!

Прогудел какой-то поезд. Степан вышел посмотреть. С лесом. Длиннющий состав. Здоровенные, красные на солнце сосновые кругляки. По меловым надписям на их боках можно, кажется, изучать географию страны.

А навстречу еще товарняк с экскаваторами, легковыми машинами, бензином в цистернах. И еще один. И еще... Будто вся страна тронулась и идет сюда, в Сибирь.

Да, вот такой и виделась ему Сибирь в мыслях о ней, большая и взбудораженная, богатая и неуютная, ни на что не похожая. Встретит будто бы с холодком, но уж если сумеешь разглядеть в суровых глазах ее искорку теплоты, то полюбишь навек красавицу. Красота и должна быть гордой, ненавязчивой, иначе надоест скоро... Нелепо, ужасно нелепо все получилось.

«Суровые глаза». Дурацкое слово «суровые». Чужие глаза — это верно. Чужие. В первую получку на заводе, еще до армии, Степан напился пьяным. Обычная история, подошли ребята, новые знакомцы, кто-то сказал: «Металлистом стать хочешь? Металл, он горький на вкус, горьким его и обмывать надо. И такой уж у нас порядок: первый рупь, первую радость — друзьям, а остальное неси по миру». Пили, клялись в работяцкой дружбе. Называли Степана «своим в стружку». Денег только и осталось — на косынку Нинке. А потом пришел к ней, и она его выгнала. Ходил по улицам, маялся: «Не чувствует души широкой, баба, разве ей понять мужское товарищество!» Косынку разорвал, шелковая, легкая — лети по ветру, развей печаль!

А утром вспомнил, и аж в холодный пот бросило: «Да что же это я, дурак...» Какие глаза у ней были — холодные, свет в них только на поверхности, в глубину не заглянешь, чужие, даже и не судили, а просто смотрели сквозь тебя, как сквозь стекло. Вот такие

вот глаза у нее бывали часто и в эти дни. Не любит. Не существует больше для нее Степан.

Чудно все получается. Жили в одном доме, Степан на три года старше — три года в ту пору большой срок. Видел, проходит по двору дичок слабенький, ключицы торчат, сторонится всех, некомпанейская девчонка... С чего же началось все? Ну да, вечером шел как-то Степан, смотрит: в углу на камне у сарайчика сидит Нина, плачет. Как не подойти? Расспрашивает, она молчит. Степана что поразило: вроде бы скучный, бесчувственный человечек, а оказывается, и у него свои горести, и умеет она не жаловаться на них. Так первый раз он ее заметил. Стали чаще разговаривать, и чем пристальней Степан приглядывался к Нине, тем больше она открывалась ему, и казалось, конца нет ее глубине, бездонная, ни на кого не похожая. Наверно, с этого и начинается всегда настоящая любовь: с того, что один вдруг увидит в другом человека.

И вот чувство это, так внезапно родившееся, с трудом, годами крепнувшее, рухнуло. Почему? Кто виноват? Может быть, чувство было не то? Что же тогда «то»? Или вообще, как говорили соседские кумушки, любви нет, есть одна привычка. Побыл Степан в армии три года, и Нина «отвыкла». Фу, какой бред! Уж он ли не знает свою Нинку!.. Так что же тогда? Как быть?

Сейчас он сядет в вагон, проплывет мимо окна вот это белое зданьице, две елки в стороне, пойдут считать колеса: дальше, дальше, насовсем. Нина останется здесь одна, а Степан еще где-то и тоже один. Навсегда.

Он толкался у кассы, когда подходил какой-либо поезд, потом сидел на чемоданчике, выходил на перрон, смотрел. И опять шли мимо составы с лесом, металлом, машинами, шумела вокруг разноликая толпа, и Степан казался себе затерянным в ней, как песчинка в пустыне. Столько незнакомых людей проходит мимо, безразличных тебе! А может быть, им, каждому, еще горше, но ведь несут свое горе, умеют сломать его, живут. А что же он, Степан, хуже?

Опять поезд вдалеке. Пассажирский. Битком набит молодыми ребятами, девчонками. Вдоль окон, поверху плакат — «Ангарские стройки ждут смелых и стойких!» Комсомольцы. Высыпали на перрон, и асфальт будто расцвел улыбками.

Как все просто, и как все сложно!

Прошел час, второй, и та злость, обида, которые родились у него еще на молитвенном собрании и от которых он никак не мог избавиться, постепенно утихали. Что значит он, Степан, со всеми своими болячками по сравнению с тем, что делается сейчас на этой сибирской станции! Да и на кого злиться-то?

На Нину? За что? Она была честна с ним. На этих людей вокруг нее? Смешно! Отсюда они представлялись такими убогими, ненастоящими. И вообще рядом с тем, что было сейчас кругом, чем жила страна, свое, личное, казалось малозначащим и простым. Думалось: «Не может быть, чтобы Нина не могла не почувствовать этого другого, большого! Рано или поздно оно должно прийти к ней». Значит, ему, Степану, надо вернуться? Он усмехнулся: «Ну уж нет! Опять смотреть, как эта толстомясая Катерина разыгрывает из себя дурочку? Хватит!.. А что, если?..»

— Внимание! Граждане пассажиры! — объявил вдруг репродуктор. — Через десять минут на первый путь прибывает поезд Красноярск — Абакан. Стоянка поезда десять минут. Повторяю...

Очередь у кассы сбилась в клубок. Поезд этот шел туда, к Нине. От Абакана — в сторону, к Саянам... Степан неизвестно зачем достал из кармана гимнастерки билеты. Один — из Москвы, другой — обратный. Долго разглядывал их. На каждом билете стоял шестизначный номер. Степан вспомнил, когда-то давным-давно Нина говорила ему: если на билете сумма трех первых цифр номера равна сумме трех последних, то он счастливый.

Старый билет в Абакан был счастливый: на нем стоял № 129453. Билет, который Степан должен был компостировать сейчас, оказался совершенно несчастным.

Степан вышел на перрон. Поезд уже стоял. За десять минут Степан успел переговорить с семью проводниками. Каждому он рассказывал:

— Только что демобилизовался. К невесте еду. Неужели понять меня нельзя? Ведь здесь еще два дня в очереди проторчишь.

Седьмой, а вернее седьмая — курносая девушка с белыми кудряшками под черным беретом, на вид неприступно-суровая, — сказала ему строго:

— Уж если к невесте, залазь...

И даже отказалась взять сто рублей, которые предложил ей Степан, отрезав:

— Купи на них подарок ей от меня. Не ревнивая?

— Нет, не ревнивая, — грустно ответил Степан.

...Вид рудничного городка, когда машина, попутный «ЗИЛ», въезжала в него, удивил Степана. Улицы были пусты: ни одной повозки, ни одного прохожего. Двери в нескольких домах распахнуты так, будто их не успели закрыть. Недвижно висели над крышами вагончики подвесной дороги, солнце окрасило в багрянец их ржавые бока.

— Беда, не иначе, — сказал шофер.

Двумя проулками выше пересекла улицу, завывая сиреной, санитарная машина.

— Точно.

Шофер круто завернул налево, и минутой позже им открылись высокий рудничный забор, проходная будка и рядом с ней толпа — горняки в брезентовых спецовках, касках, некоторые с карбидными лампами в руках, женщины, дети.

Толпа гудела.

В шахте случился обвал.

Степан сквозь толпу полез к проходной. Невольно слушал, как стоявшие рассказывали друг другу. Затяжная весна, а потом две недели жарких дней. Серебрянка всегда разливалась дважды: первый раз — в конце мая, а потом таяли снега в Саянах, и опять речку пучило. В этом году два разлива слились в один. Море!.. На Пионерской, говорят, все подвалы забутило... На Колокольной горе Серебрянка скакнула в сторону, затопила соседний распадок. Потом

ушла к себе, а в распадке осталось озеро. Нельзя сказать, чтоб уж очень большое, но утки в нем в перелет плавали. А они, утки, свой путь точно держат, какую-нибудь лужу и не заметят, а тут замечали, плавали... Под тем распадком проходит тридцать восьмая штольня... Глинистый карст... Отпалили запал, продули штрек, стали дальше бурить. И шли-то ниже глины метра на полтора, не меньше. И вдруг вода хлынула, как из брандспойта! Даже перфоратор из рук вышибла. Сразу — по колено, а главное, не подойти: с ног сбивает. Их там пятеро было. Четверо — бежать, а он вернулся, хотел машину вывести. Ну, да, навалоотбоечную... И тут все рухнуло. Ребята — обратно, к нему. А вода сама камни разбросала. Вытащили его — мертвый. Булганом голову размозжило!.. Надо же! И кто? Васька Тархин! Кто бы подумал!.. Из-за машины себя не пожалел... Едва отнесли в сторону, в штольню, а позади — новый обвал...

Тархин? Степану эта фамилия как будто знакома. На секунду он остановился. Ближе к воротам плотным кольцом стояли горняки, ни женщин, ни детей не было. И тут молчали... Так и не вспомнил, где он слышал эту фамилию. Полез дальше. Его пропускали, наверное, потому, что на нем была солдатская форма.

Конечно же, с Ниной ничего не могло случиться. Но ведь эти люди вокруг почему-то стояли? Стояли, хотя из шахты подняты на поверхность все, там осталась лишь аварийная команда. Затопленный штрек перекрыт гидравлическим щитом. Худшего уже быть не может. И все-таки они стояли! Поэтому и... Ну, так и есть! Нины в проходной нет, хотя всю эту неделю она должна дежурить днем. Стоит у входа какой-то старик в валенках с заплатками. Где же Нина?..

Он почти вбежал в ее дом. В кухне у стола чистила картошку Мария Антоновна.

— Где Нина? — спросил Степан.

Та, словно не удивившись ни его появлению, ни вопросу, ответила:

— У соседки.

— А-а!.. Здравствуйте, Мария Антоновна, — он шагнул вперед. — Я вернулся.

— Вижу.

— Я знаю, я вам неприятен, но уехать я не мог. — Степан опустил глаза, голос его дрогнул. — Вдруг примут меня в секту, тогда все может перемениться... Вы мне позволите остановиться у вас? Ведь больше негде, гостиницы нет. Я буду платить...

Она встала, пошла в горницу. Уже повернувшись спиной к нему, сказала:

— Что ж, оставайся.

Степан, позабыв снять шинель, устало опустился на табурет.

Смеркалось. Мария Антоновна принесла на кухню лампу-«молнию».

...Вот уже несколько часов Нина ждала Тархину в ее доме. Он был пуст. На столе стояли вымытые тарелки, на комоде, в дальнем углу, торопливо тикал будильник, круглый, с кнопкой наверху. Над застеленной кроватью белели рамки фотографий: Василий (в солдатской форме, из-под пилотки лихо торчит чуб), Вера, невестой, в цветастом, открытом на груди платье, группа незнакомых Нине людей на лавочке перед домом Тархиных, его можно было узнать по штукатурке на стенах, потрескавшейся, обвалившейся. Все было обычно. Только веник, что лежал посреди комнаты рядом с мусором, собранным в холмик, напоминал о случившемся.

Нина подняла веник и домела комнату, мусор собрала в корец и выбросила в печку. Делала она это неторопливо, стараясь ни о чем не думать. Печка и маленький уголок рядом, служивший кухней, были отделены от комнаты, так же как и в теткиной избе, ситцевой занавеской. Нина села на табурет у окна, в которое были видны двор и раскрытая калитка на улицу.

Она знала: тело Василия увезли в покойницкую при городской больнице, и Вера сейчас, наверное, там. Но пойти туда Нина не могла, она даже дежурство бросила, чтобы ничего не видеть, попросила посидеть

вместо себя деда Андрея. Вспомнила бледное-бледное лицо матери, властное и живое, неестественно черные брови на нем. Тишина... Круг замкнулся. Значит, смерть всегда непоправимо бессмысленна, нелепа? Мама болела, хоть недолго, но болела. А Василий — сам?.. Нужно ли бояться смерти? Наверно, она как сон. Человек заснул, чего же ему бояться? Должно быть, страшна не сама смерть, а сознание того, что чего-то не успел сделать или сделал не так. Важно, чтоб всегда все делать «так». Поэтому Василий и вернулся за этой машиной. Значит, и в смерти может быть смысл?.. Придет посланник от бога — и грянет страшный суд, наступит тысячелетнее царство для тех, кто верит в его приход, — для «пятидесятников», а остальным смерть. Посланник...

Ах, не о том она думает! Вот Вера... Как все ужасно! Несправедливо. Несправедливо!..

Взвизгнула калитка, и Нина увидела, как к крыльцу быстро прошла, почти пробежала Вера, за ней — Курбатов. Их шаги...

— Опомнись, Вера, ведь не одна же ты будешь! Да хоть я... Всем конец придет, а живым надо жить.

Какой странный голос у Родиона Алексеевича! Не обычный, не покровительственный, не ласковый, а какой-то жалобный. Он просит чего-то, как просят милостыню. Нет, сейчас он такой же, как всегда. Курбатов успокаивает Веру. Нина встала и хотела выйти из-за занавески к ним, но Курбатов сказал:

— Пусть ты мне в тысячи встанешь! Руку под топор положу, лишь бы тебе хорошо было. Опомнись!..

Нина уже не могла показаться им.

— Да ты о чем, Родион? — спросила Вера задумчиво, так, как будто не с ним говорила, а с кем-то в себе, с другим.

— Ты знаешь о чем... Да разве любил он тебя так, как я люблю? Разве я хуже, беднее? Брат я тебе по духу.

Они долго молчали. Вдруг Вера, задыхаясь, с ненавистью выговорила:

— Ох, и сколько же в тебе грязи!..

— Вера!

А она засмеялась странным сдавленным смехом.

— Утешить меня пришел? А куда же ты бога денешь?

— Бога? — голос Курбатова стал злым. — Это бог тебя и наказывает за грехи твои.

— Бог?.. Меня?.. Василия?.. — Она кричала. — Да будь он проклят, ваш бог, ироды! Вон отсюда, вон!..

Слышно было, как стукнула дверь. Повисло молчание. Ступая через силу, Нина вышла в комнату. Вера стояла спиной к ней, пошатываясь, как от боли: она была в стареньком домашнем платье, тесном ей, разорванном по шву у плеча. И было в ее фигуре что-то жалкое, девичье. Она не замечала Нину.

— Вера...

Нина хотела сказать, что она все слышала нечаянно, но поняла, что не об этом надо говорить, и умолкла. Та повернулась к ней, лицо ее было застывшее, мертвое, и так же безразличны — по тону — были ее слова:

— И ты здесь? Слетелось... воронье. Уходи отсюда. Уходи!

Нина протянула к ней руки, шагнула вперед.

— Уходи, ты слышала? Не хочу видеть. Родиона выгнала, а ты... Да он-то врет, зато и видать, что врет. А ты... ты ведь хуже его. Уйди!

Чьи-то шаги прозвучали за дверью, вошли двое или трое женщин, они что-то стали делать в комнате. Нина ничего и никого не видела. Она шагнула в открытую дверь и побрела через двор на улицу.

Солнце уже село, но было тепло. Улицу изрубцевали глубокие колеи высохшей грязи. Было неудобно идти по ним: глинистые бугры ломались, крошились комочками, и ноги соскальзывали в ямины. Где-то вдалеке пролаяла звонко и умолкла собака. Опять стало тихо.

Окно на кухне в теткином доме светилось красным отблеском. Нина с трудом отворила массивную, из досок-сороковок, калитку и увидела Степана. Он сидел на крыльце, на верхней ступеньке, без шапки, в гимнастерке. Нина не удивилась. Она подошла

ближе. Степан молчал. Нина села рядом и уткнулась головой в его колени, заплакала беззвучно. Степан гладил рукой ее плечи.

— Успокойся, ну, успокойся! Что с тобой?

Она выговаривала сквозь слезы:

— Боюсь я, опять одна я... Степа, Степан!.. Ведь никто не понимает: не может же человек жить без близких себе, Степан! Трудно мне, страшно...

Степан обнял ее.

— Перестань, что ты!.. Ведь я же с тобой, я всегда буду с тобой.

Она отстранилась от него испуганно.

— Нельзя, убери руки... — и спросила: — Ты совсем приехал? Правда?

— Да.

— Милый, как же быть?.. Приди к нам, иначе нельзя мне, бог — он страшный, бог! Вот Тархиным он же мстит, я знаю...

— Да при чем здесь бог?

Она закрыла ему рот ладонью, мокрой от слез.

— Молчи, я знаю.

— Ну ладно. Видно будет. Я все сделаю, лишь бы тебе хорошо было. Успокойся.

Они долго сидели так молча, думая каждый о своем.

13

Что-то должно было случиться небывалое, страшное, от чего все перевернулось бы. Ведь не могло же быть по-старому, вот так вот тихо, спокойно, после этой смерти, после слов Веры о боге, о ней, Нине. Если бы небо упало на землю, Нина не удивилась бы. Если бы... Но все было по-старому, тихо, спокойно. По-прежнему надо было вставать поутру, идти на работу, сидеть в этой скучной проходной, а потом слушать проповеди все о том же и петь те же псалмы, песни и томительно ждать. Разница только в том, что все время был рядом Степан. Он, кажется, и правда решил вступить в секту. Целыми днями читал библию, учил на память стихи, которые ему давала Нина

или сестра Катерина. Она опять зачастила к ним в дом и все говорила, спорила со Степаном. Иногда в эти разговоры вступал и дядя Андрон.

Странные были споры у них. Сестра Катерина объясняет что-нибудь, а Степан вдруг ввернет:

— Вот вы говорите о милосердии, доброте, праведной жизни в миру: не убий, не кради, не прелюбодействуй и так далее. Все это здорово, очень это мне нравится. Но почему же сам-то бог такой жестокий был?

— Как жестокий? — сестра Катерина искренне недоумевает.

— Ну как же! Адам с Евой согрешили? Согрешили. Наказать их надо, правильно. Но ведь не так же, чтоб из-за них все человечество во веки веков в поте лица свой хлеб добывало, чтоб женщина в муках детей рожала. Человечество-то здесь при чем? Ну, наказать Адама и Еву — и хватит.

— Так вить...

— Обождите. То он всю землю потопом залил, один Ной в живых остался, то два города, Содом и Гоморру, сжег, и все за что? В ковчег священный заглянет кто-нибудь, он — хлоп! — и вырезал пятьдесят тысяч человек. Ну, разве это не жестоко?

Нина никогда не смотрела с этой стороны на библию и слушала Степана с интересом. Пухлые щеки сестры Катерины становились пунцовыми, она отвечала строго:

— Бог жесток с неверными, греховодниками, а со своими слугами он милостив.

— Ну и неправда! — горячился Степан. — А Иова помните? Самый честный и богобоязненный человек был, семьянин, счастливый, богатый, все хорошо вроде. А бог ни с того ни с сего всех стад его лишил, всего имущества, детей у Иова умертвил. И все равно тот только и делал, что молился. Тогда бог проказу на него напустил лютую и что только не делал! Ведь это же садист какой-то!

— Кого садит? Никого он не садит, это людское занятие... А с Иовом потому так сделал, что испытать его хотел.



— Так ведь он всезнающий, что же испытывать?

— Он всезнающий, а человек незнающий. Стало быть, надо показать ему предел веры. А вере нет предела.

— Ах, вот в чем дело! — с искренним удивлением восклицал Степан и опускал глаза.

Сестра Катерина опять становилась строгой.

— Ты вот все рассуждаешь, умом дойти хочешь, а надо сердцем: сердце, оно верней судит.

Степан поднимал глаза, и была в их голубизне кротость.

— Так ведь и я хочу поверить, сомнения свои понять.

Сестра Катерина не выдерживала его взгляда, отворачивалась.

— Правильно, соколик мой. Говори обо всем, что думаешь, ничего не скрывай.

А Нина никак не могла понять: искренен Степан, или говорит он это нарочно. Иногда до того зло брало, что хотелось подойти и отхлестать его по щекам: не говори так, не говори!

А ночью вспоминала все услышанное и думала, думала... Василий и Вера... Бог наказал. Отомстил... Неужели это правда? Значит, Степан говорит верно? О господи! Да не может же быть все вот так! Хоть бы случилось что-нибудь, чтоб было ясно!

И она ждала. Почему-то это чувство ожидания не позволяло ей разговаривать со Степаном. Так, перекинутся тремя словами за вечер, и только. Правда, Степан нет-нет да заговорит о другом, прежнем...

— Нина, помнишь, ты мне как-то рассказывала? Белые паруса, пустынный берег, дом одинокий, принц... Я в армии узнал, откуда ты это взяла. Ведь это же «Алые паруса» Грина, да?

— Не знаю, не помню.

Ей совсем не казалось, что это «Алые паруса». И она все помнила. Но говорить не хотела. Очень уж становилось жалко и себя, и Степана, и Веру, и всех-всех. Слезы давили грудь. Но Степан не должен был видеть ее слез.

Шли дни, недели. Однажды в проходной шахты мимо Нины прошла Вера Тархина и протянула ей пропуск, постоянный. У Нины забилось сердце: вот сейчас... Но Тархина даже не поздоровалась. Вечером дядя Андрон сказал, что Вера работает с ним, сменщицей. И теперь Нина видела ее почти каждый день, но та по-прежнему не говорила ей ни слова.

И все. Больше ничего не произошло.

Вера похудела, осунулась. Брезентовая роба шла к ней. К ней, наверно, все пойдет! И как-то стала она похожа для Нины на всех женщин, девушек, которые работали на шахте. Такая же. Будто ничего особенного и не было. Может быть, молчаливей, чем другие. И только.

Нина ждала.

Как-то дядя Андрон сказал Степану:

— А ты, голубь, проси лучше сестру Катерину — вижу я, привечает она тебя, — проси лучше крещения духом. Глядишь, и дадут тебе его.

И опять Нина подумала: «Вот оно!..» Опять забилось тревожно сердце.

На следующий день Степан спросил сестру Катерину:

— Как же так? Мне дядя Андрон говорит: «Проси лучше у сестры Катерины крещения духом. Глядишь, и дадут...» Значит, не у бога надо просить, а у людей? Значит, люди всем распоряжаются?

И опять начался спор.

А потом Нина слышала, как сестра Катерина шептала дяде:

— Ты что же болтаешь, дурак плешивый! Что говоришь!..

— Так ведь я как лучше хотел.

— Как лучше! Молчал бы уж...

Что-то еще они говорили. Дядя Андрон попросил:

— Катеринушка, ты только Марии моей не говори об этом, ладно? Пожалей. Ведь такое будет!.. А я уж молчать буду, ладно?

И опять приходили непрошеные дурные мысли: «Тетка для него страшнее бога... А что же Катерина?

Значит, и она, значит, и ей в конце-то концов безразличен бог?»

Вдруг вспомнились слова деда Андрея, которые он когда-то давно сказал ей: «Человек ищет то, чего ему не хватает. Кому удобней с богом, тот в него и верит». Тогда она не поняла этих слов, а теперь подумала: «Дяде удобней, потому что тетка верит. Курбатову и Катерине тоже удобней, чтоб народу больше в секте было. Вере?.. Бог пошел против нее, она и верить перестала, и никто ее за это не наказал. А я? Что, мне тоже «удобней» было? Чего мне не хватало? Что меня заставило? Не знаю, ничего я не знаю! И не хочу знать. Грех думать об этом, грех!»

И все-таки думала.

«А Степан? Ему не хватает меня, и поэтому он поверит? Но ведь Катерина — она же нарочно все это ему говорит! Неужели Степан не понимает?»

Но Степан однажды проговорился. Он спросил у нее:

— Ты Алешку Брянцева знала, секретаря горкома?

— Знала. А что?

— Всыпали ему вчера на пленуме по первое число.

— А ты откуда знаешь?

Степан смутился.

— Так...

— Нет, откуда?

Степан взглянул на нее будто бы холодней, чем обычно, отчужденней, сказал твердо:

— Был я на пленуме. Я на учет здесь встал, иначе ведь нельзя. Ну и позвали меня чем-то вроде свидетеля на пленум. Между прочим, вопрос стоял об идеологической работе и о сектантах. Ребята Брянцеву говорят: «Они чем берут? Тем, что к людям, к каждому человеку свою отмычку находят. Коли есть слабинка какая, на ней и сыграют. А ты? По радио прогремел, из комсомола выгнал, и все? Нет, брат, так дело не пойдет!..» Между прочим, — Степан наморщил лоб, — мне даже жалко его было: парень-то он, видно, хороший. И работяга. Да только все один

крутится как белка в колесе. Народ не умел поднять. Но теперь-то, я думаю, в порядок его приведут...

Нина молчала, но думала: «Значит, и Степан нарочно?» И мысль эта не возмутила ее.

— Что ж ты молчишь, Нина?

Она нахмурилась.

— Ах, не все ли равно...

— Слушай! — Степан возмутился. — Ты все время говоришь со мной таким тоном, будто я виноват в чем-то, будто поучаешь, будто тебе все известно, а я — маленький несмышленыш. Зачем ты так?

Они шли по улице. Нина остановилась, взглянула на него и только тут увидела, как изменился Степан за эти дни: осунулся, и на лбу какая-то горькая, новая складка, глаза измученные, воспаленные. И в который раз появилось это желание — поднять руку и провести ладошкой тихонько по лицу Степана, разгладить морщинки, дотронуться до губ, чтобы опять стали спокойными эти голубые глаза, чтобы улыбнулся он снова... Нина любила его улыбку: очень осторожная, мягкая и чуть насмешливая, будто стеснялся Степан показать себя счастливым. Но чувство это было похоже на то, когда стоишь на лыжах на краю горы и уже знаешь, что сейчас заскользишь стремглав вниз, и еще какое-то мгновение боишься этого, сердце замирает сладко и больно... Вот поднять руку и... нет, тогда не остановишься, не удержишься!..

Нина отвернулась.

— Прости, Степан. Наверное, нехорошая я, но не могу я сейчас иначе. Понимаешь? Не могу.

Степан шел рядом, она слышала, как он дышит глубоко, взволнованно.

Успокоился и только потом суховато, даже чуть озлобленно ответил:

— Хорошо. Я могу быть и терпеливым. Хорошо...

Откуда у него эта злость? Не обижайся, Степан, не надо! А он шел, видел ее спину, худенькую и такую беззащитную в этом стареньком пальтеце, крутой пучок темных волос и нахмурившуюся тонкую бровь на гладком лбу, и хотелось взять Нинку двумя

руками за плечи, сдавить их, остановить ее, повернуть к себе, крикнуть: «Перестань, Ни-на! Ведь это же я, Степан, ведь мы вдвоем! Вдвоем!..»

Они шли рядом, но будто и врозь, даже не прикасаясь друг к другу. Степан думал: «Я могу быть терпеливым. Да, я могу быть терпеливым. Силой не все сломать можно... Должно же это когда-нибудь кончиться. Должна же Нина стать прежней, его Нинкой! Я могу быть терпеливым. Могу. И я буду терпеливым».

А вот уже и их дом, а в нем — снова молчание, настороженное внимание друг к другу, вихрь, водоворот мыслей и спокойная речь, желание жить и мертвая рассудочность споров. И так час, два, а потом опять собрание, молитвы, искусственное возбуждение чувств, усталость и сон, который не приносит покоя.

Но в этот вечер собрание секты было необычным.

Только лишь пресвитер проговорил: «Возблагодарим господа бога нашего за то, что позволил нам опять собраться вместе», и все затянули гимн: «Бог нас от гибели спас», которым всегда начинали молитву, как вдруг за окном раздались слова другой песни:

Отречемся от старого ми-ира,
Отряхнем его прах с наших ног!

Пели под хлесткие звуки аккордеона молодые звонкие голоса, человек двенадцать, не меньше.

Сектанты замолчали, недоуменно переглядываясь. Нина заметила: Степан — он тоже сидел здесь — закрыл лицо рукой, спрятав улыбку. Курбатов встал и, нахмурив седые брови, опять забормотал тенорком:

В мире нет правды иной,
Кроме как....

А за окном пели уже другую песню, солдатскую:

Путь далек у нас с тобою,
Веселей, солдат, гляди!
Вьется знамя полковое,
Командиры впереди.

В комнате послышались смешки. Нина, не сдержавшись, тоже улыбнулась. Трудно было петь тягучий, жалобный гимн под звуки маршевых песен, но все-таки кое-как добрались до конца.

Повисло молчание.

— Братья и сестры, — заговорил, наконец, Курбатов, голос его поначалу казался неуверенным, — случилась беда в семье нашей: ушла к нечестивым, погрязнув в кощунстве, одна из нас, Тархина...

Вошел и встал в двери паренек, веснушчатый, стройный, ворот белой рубахи расстегнут. Нина узнала его: это он когда-то приколачивал в проходной боевой листок, осуждающий мужа Веры, Василия. Курбатов будто бы и не заметил его.

— Все вы знаете, никогда не была она крепка в вере, всегда думала о своем прежде, а потом уже о божеском. Всевышний покарал ее справедливо, хоть и сурова была эта кара. Но разве мы можем судить глубину мудрости его? Нет!.. Тархина же вместо того, чтоб покориться, искать утешения в молитве сладостной, ушла от нас. — Помолчав секунду, он вскинул голову и выкрикнул: — Вижу! Вижу, придет наказание и за этот грех!..

И вдруг перебил Курбатова паренек, стоявший у двери:

— Врете, — голос его сломался было, но тут же зазвучал ровно, — врете вы, пресвитер! Ничего уже не случится с Верой Тархиной, она с нами, не с вами. И на Василия тоже клевещете. Погиб он не по милости бога, погиб геройски за наше общее дело, и память о нем мы сохраним навсегда...

Курбатов смотрел на него молча. Все же и сейчас он сумел сохранить достоинство: выпрямился и стал как бы выше, расправились морщины на лбу, лицо было светло.

— Мальчишка! Выгнать его! — закричала пронзительно откуда-то с задних рядов Катерина.

— Выгнать? — паренек усмехнулся. — Ведь вы отрицаете насилие, как же выгнать?.. Лицемеры! Вы проповедуете чистоту, а сами погрязли в тине, ищете правду, говоря ложь, на словах — бескорыстны,

а ведь живете-то единственно ради денег, лишь бы набить живот, и ничего вам больше не нужно, не интересно...

— Безобразие! — выкрикнула опять Катерина.

Курбатов остановил ее величественным жестом:

— Спокойно, братья и сестры. Слушайте свой внутренний голос, и вы поймете правду. А сейчас покинем дом этот, дабы не осквернять слух речами нечестивыми.

Все встали послушно и двинулись к выходу. Паренек, видно, не ожидал этого, растерялся и молча глядел на проходивших мимо людей: они шли, смиренно опустив глаза.

— Хитер ты, — обиженно буркнул он Курбатову, когда тот поравнялся с ним, — даже договорить не дал... Но ничего! Мы вас...

А за окном опять пели:

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету иных забот!..

14

Словно ветер распахнул окно и ворвался в комнату. Откуда пришел он? И добрый ли это ветер? Или он опять поднимет бурю, взмутит, взбудоражит душу, и на этом все кончится? Останется новая боль, а не радость?

Нина никак не могла осознать, что же происходит вокруг. Она знала теперь: Курбатов, сестра Катерина — эти люди неискренни в своей вере. Но если уж они!.. Где же истина? «Познание мира, мудрость — в страхе господнем». В страхе. Да, да, в страхе. Бог жесток, мстителен, он не прощает ни одной ошибки. Недаром и Степан все время говорил об этом с сестрой Катериной: Адам и Ева, Иов, Содом... Но при чем здесь все эти Иовы? А сейчас? Ведь не наказывает же он Курбатова! А Вера? Ушла и... Вообще разве могут любовь, доброта, честность, спра-

ведливость существовать благодаря жестокости? Нельзя сделать человека добрым, если каждый день грозить ему, бить палкой его. Но тогда...

А тут еще эти комсомольцы. Вот у них Нина все понимала, что они хотят, чем живут, — все. С ними просто.

Два мира, таких разных, вдруг начали смыкаться. И Нина — посредине. Что же делать? Хоть бы случилось что-нибудь! Хоть бы кто-нибудь решил за нее! Но что же может случиться еще? Дело не в этом.

Нина думала, думала и никак не могла найти выхода для себя. Голова разламывалась от этих мыслей.

Ей стала неприятна до отвращения работа в проходной. Почему все эти люди идут мимо, мимо и нет никому дела до ее мук? Из окошка только и видно — ноги, ноги, ноги. Сапоги, ботинки, тапочки, штаны разглаженные, штаны мятые. А голова, сердце у людей есть?

Кто-то постучал в дверь. Голос Степана:

— Нина, можно к тебе?

Она промолчала. Степан вошел.

И он тоже какой-то странный. То ли он обманывает ее, то ли действительно хочет вступить в секту. Ничего не понятно.

— Нина, я хочу поговорить с тобой. Дома... эта Катерина... в общем...

— Ах, о чем говорить! — она отвернулась.

— Не о чем?

— У всех одни слова. Слова! Как паутина. Липнут... господи, и зачем ты приехал! Ведь было спокойно, хорошо, а тут...

— При чем тут я? Не я, так еще что-нибудь. Да и было ли спокойно? Обманываешь ты себя. Не будет тебе здесь спокойно никогда.

Она проговорила задумчиво:

— Да, может быть... Ну и пусть!

Степан взял ее руку.

— Ты любишь меня, Нина?

Она отняла руку порывисто.

— Уйди! Нельзя об этом, — но, помолчав, добавила: — Знаешь, у меня последние дни такое чувство:

а что, если и мне согрешить — накажет? — и спохватилась: — Нет, нет! Что это я!

Они помолчали.

— Хочешь, я тебе стих прочту? — спросила Нина. — Вчера принесли. Нравятся мне там последние строчки, грустные:

Сегодня ты видишь красивые лица,
И радости полон уютный твой дом,
А завтра ты снова о смерти услышишь...

Степан перебил ее:

— Ты все о смерти. И все они, твои, — смертяшкины... Вот я тебе другие стихи прочту, слушай.

Эхма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю
распахал,
Век бы ходил — города городил...

— Что это?

— Это же Горький! Ну как же ты забыла! — ответил Степан с обидой. — Помнишь, мы сидели у Москвы-реки...

У Москвы-реки... Как давно все это было! Да-да, июль, травостой, они со Степаном бредут по лугу, ромашки склоняют свои белые короны. Впереди, далеко, — ровный холм, и на нем береза, высокая, с коричневыми потеками на коре. Как хорошо, что именно береза! Опустила ветви вниз, сережки на солнце кажутся седыми. Такие березы зовут плакучими. А где-то еще дальше над землей колеблется прозрачная дымка, струится воздух. Простор радостный и близкий душе, знакомый и всегда удивительный. И чудилось: там, за этим холмом, если взойти на него, откроется что-то необычайное, не виданное никем... Как давно все это было!

Нина сказала тогда Степану:

— Сейчас дойдем до этой горки, взберемся, а там, знаешь, что будет?

— Что?

— Счастье.

Степан засмеялся.

— Да, да, счастье!

Но вдруг зашла со стороны косая, как парус, тучка, упала капля, одна, другая, и брызнул дождь.

— Побежим?

— Давай.

Они взялись за руки и побежали вперед. Трава путалась в ногах, цветы упругими чашечками своими больно хлестали по голым коленям. Слепило солнце, и шел дождь. Ситцевое платьице Нины промокло насквозь, прилипло к телу, и на бегу выпукло рисовались под ним маленькие девичьи груди.

Добежали. Задохнувшись, упала Нина лицом в мокрую траву, засмеялась, подняла голову: сиреневая полоса дождя обогнала их и стояла сейчас над синей кромкой леса у горизонта. А за лесом этим — опять луга, поля, реки и снова леса... Нина спросила:

— Степан, это и есть счастье, да?

Он вздохнул глубоко и прочел:

— Эхма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил...

— Неужели не помнишь, Нина? — повторил Степан.

Она подняла голову, улыбнулась.

— Теперь вспомнила, — и дотронулась пальцами до его руки. — Ну, правда, вспомнила.

Глаза ее говорили: «Не сердись, я все-все помню...»

Степан быстро склонился и поцеловал Нину. Она встала стремительно, и губы ее на мгновение прижались к его губам, грудь приникла к его груди. Но тут же оттолкнула его, отступила к окну, волнуясь, поправила волосы, выговорила глухим, странным голосом:

— Уйди, Степан. Нельзя... Грех это, грех.

— Никуда я не уйду.

В окошко просунулась чья-то рука.

— Возьмите пропуск, пожалуйста.

Нина проверила пропуск и уже спокойно сказала Степану:

— Уйди... сейчас смена кончается, увидят.

Он усмехнулся зло.

— Замучила ты меня... Вот ведь и согрешила? И небеса не разверзлись, и гром не прогремел, как же это?

— Не шути так, Степан, — в голосе Нины была мольба. — Уйди.

Он, помедлив секунду, махнул рукой, вышел.

...Из шахты выходила смена. Кто в своих костюмах, кто в брезентовых робах, все распаренные после душа, умиротворенно-веселые. Вешают свои номерки на доску, перебрасываются шутками.

— А хорошо после душа!

— Это точно! Особенно первые полгода...

— Ну, куда, куда прешь? Успеешь к своей милке.

— Да я не к милке: в школу.

— Сегодня ты молодец, Ваня, работнул. Ты мух ноздрей не бьешь!

— Чего, чего? — спрашивает Ваня, здоровенный детина.

— Мух ноздрей не бьешь.

— Каких мух? — удивляется Ваня.

В ответ ему — хохот.

Нина стояла тут же, в тесном коридорчике, думала о Степане: он любит, любит так же, поэтому и злится, пусть злится!

Как всегда, шахтеры шли мимо, чтобы завтра пройти обратно. Но сегодня будто бы каждый оставлял для нее частицу своего тепла. Кто-то сказал вдруг:

— Смотрите-ка, братцы, наша молчальница заулыбалась!

Нина поняла, что речь о ней, спохватилась, покраснев: «Да что это я?.. Что со мной?» — ушла в свою каморку.

Хлопнула дверь. Еще раз. Тишина. Кажется, вышли все. Нет, кто-то опять идет.

Тархина. Ее платье. И с ней двое парней. Вышли на улицу. Один воскликнул:

— Верочка, солнце-то какое! Аж глаза режет... Не умеем мы радоваться солнцу.

Ушли.

«Не умеем мы радоваться солнцу...» Солнце, Москва-река. Береза плакучая. Дождь. Счастье. «Эхма, кабы силы да поболе мне!..» Что же может быть выше, справедливей простого, обыкновеннейшего человеческого счастья? Зачем весь этот мир, сопки, воздух, жизнь, как не для него? Да, но как же тогда бог, тетка, молитвы, ее обет? Запуталось, все запуталось.

Надо решиться на что-то.

...Вечером Степан сидел дома, ждал Нину. Смеркалось. Скрипнула калитка. Вошел Андрон Афанасьевич.

— Сумерничаешь, молодой человек? Охо-хонечки-хохо! Восходит солнце, и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит... — Он повесил кепку на гвоздь, пригладил ладонями редкие пушистые волосы у висков. — А на улице благодать! Тепло, как в баньке... Что-то ты смотришь невесело? Солдату грустить не положено.

— О боге думаю, — серьезно ответил Степан.

— О боге? Это да, это нужно, — словно спохватившись, быстро сказал Андрон Афанасьевич. Лицо его стало скучным. — Где-то пропали хозяйки наши, пора бы и ужинать... А о боге тебе надо с Родионом Афанасьевичем побеседовать, — проговорил он тихонько, как о секретном, — вот уж истинный человек! Он тебе все объяснит, как на духу. И что меня удивляет: мужик-то крепкий, да и годы — пятьдесят — разве это годы? А живет один, в чистоте, ни хозяйства, ни жены. Комнатку у Катерины снимает, говорит: «Мне ли о мирском думать?» — и повторил с удовольствием: — Истинный человек!

Открылась дверь, вошла Мария Антоновна, бросив взгляд на мужа, за ней — сестра Катерина.

— Да-а! — пробормотал Андрон Афанасьевич и замолчал.

— Ужинать будем, — сказала Мария Антоновна и стала накрывать на стол. Достала из печного тво-

рила кастрюлю с круто разваренной гречневой кашей, вышла в сенцы, вернулась с кринкой молока. Андрон Афанасьевич взял на полке пять глубоких тарелок, ложки и тоже принес их на стол.

— Чайку бы, а, Мария? — попросил он.

Та зажгла керосинку, поставила чайник.

— Где Нина-то?

— А кто ее знает.

Мария Антоновна опять вышла, громко хлопнув дверью, — наверно, сердилась: ей всегда был неприятен малейший непорядок в доме. Степан видел в окно, как она прошла в сарай, к скотине.

— Уж какой чаек, не до чайку, — вздохнула горестно сестра Катерина, с трудом поместившая себя на стул у печки.

— Ай случилось что?

— Кто-то письма всем нашим разослал, а в них пакости про Родиона Алексеевича, про меня, про всех.

— Ну? — Андрон Афанасьевич надел даже зачем-то очки.

— Вот то-то и оно... Небось комсомольцы эти, — она вдруг передразнила брезгливо: — «Отречемся от старого ми-ира! Отряхнем...» Отряхнем!.. Нехристи!

— И тебе прислали?

— Мне? Зачем это мне?

— А что же в письмах тех?

Она не ответила, заговорила о другом:

— Родион Алексеевич сегодня утром во дворе дохлую кошку нашел. Не иначе, они же и подкинули.

Степан, едва удержавшись от смеха, спросил:

— Зачем же... кошку-то? Зачем им?

— Зачем! Им бы только осквернить, — сестра Катерина поджала губы в негодовании.

— Но ведь, — начал было Степан и не досказал: вошла Нина и сразу за ней — Мария Антоновна.

Сели за стол. Нина была задумчива. На вопрос тетки: «Где была?» — ответила коротко:

— В сопки ходила.

Сестра Катерина опять жаловалась на что-то.

Не доев кашу, Нина ушла в горницу.

Встали из-за стола. Вернулась Нина и протянула Степану, опустив глаза, лист бумаги:

— Посмотри, песню новую списала.

Тетка мыла посуду. Андрон Афанасьевич разговаривал с сестрой Катериной. Степан взял листок.

На нем крупным почерком школьницы было написано: «После того что случилось, я не могу, не имею права молиться. Что мне делать теперь?» Он достал из кармана карандаш и написал на обороте: «Спроси совета у бога. Не ответит, скажу я». Она взглядом попросила карандаш.

«Скажи ты».

«Бежим отсюда».

«Страшно. Да и куда бежать?»

«Куда угодно. Куда хочешь».

«Решай сам».

«Завтра мы уедем».

Она взглянула на него долгим взглядом. Кивнула головой: «Ладно».

Нина стала помогать тетке, все они говорили о чем-то, Степан ничего не слышал. Ему бы встать, сплясать бы, что ли, от радости, он все что угодно готов был сделать — и боялся даже взглянуть на Нину. Только изредка косил глазом, видел ровный овал ее бледной щеки, черную бровь, волосы, собранные в крутой пучок, и думал: «Нина, Нин-ка! Моя Нинка!.. Моя? Ну, конечно же, конечно! Теперь уж все!..»

Ему хотелось показать тетке, и дяде, и себе в зеркало язык или еще что-нибудь выкинуть. Он едва поборол это желание.

Спать легли рано, и Степан был рад этому.

Скорей бы утро!..

* * *

Вечером следующего дня Степан и Нина в кузове попутного грузовика подъезжали к Абакану. Почти всю дорогу они молчали, сидели спиной к кабине, прижавшись друг к другу; у их ног прыгали три пустые железные бочки из-под горючего, все время

надвигаясь на них. Степан вставал и руками откатывал их к заднему борту. Было часов девять, когда он, поднявшись, увидел, словно в чаше из высоких темных холмов, озеро огней.

— Абакан, Нина.

— Уже?

— Да, — ответил он и рассмеялся.

— Ты что?

— Знаешь, — сказал он, садясь рядом, — нет, лучше не буду рассказывать.

— Так нечестно, Степан, начал, так договаривай.

Он опять рассмеялся, радуясь то ли ее словам, то ли своим воспоминаниям.

— Когда я уезжал от тебя, вот в прошлый раз, в Ачинске...

Он рассказал, как гадал на двух билетах о счастье.

— А если бы оба оказались несчастливыми, — спросила она очень серьезно, — ты бы тогда не вернулся?

— Я бы тогда еще на чем-нибудь стал гадать. Пока не сошлось бы.

Нина улыбнулась уголками губ.

Грузовик въехал в город. Мимо проносились другие машины, по тротуарам шли люди. Где-то девичьи голоса пели песню. Промелькнул небольшой сквер. В нем росли почти одни осины. Они уже зазеленели, ветки их облепила стая воробьев, птицы так громко чирикали, что голоса их заглушали шум мотора, лязганье пустых бочек. Нина подумала: «Какие хорошие воробьи! Почему я их так давно не видела? Ведь не может быть, чтоб их не было в нашем городке!..»

На перроне вокзала терпко пахло горелым углем, мазутом, по-домашнему неторопливо перекликались паровозы, и опять эти запахи и звуки напомнили Нине о чем-то забытом. Рельсы, блестящие, веселые, уходили вдаль, к Ачинску. Ачинск...

— Степан, а ты знаешь, мне один парень сказал, что лет через десять столица переедет в Иркутск.

— Какая столица?

— Ну, наша Москва.

— Да?.. Тогда надо спешить. Повидать хоть, пока не переехала.

Он, улыбаясь, повернулся к Нине и вдруг увидел на ее щеках слезы.

— Что ты, Нина?

— Ах, Степан! Боюсь я... — Она припала головой к его плечу и заплакала.

Нахмурив лоб, Степан гладил рукой ее волосы и говорил очень серьезно, как он говорил обо всем:

— Не надо... Успокойся! Все обойдется. Какая чудесная начнется теперь жизнь!..

Мимо прошли двое парней в рабочих спецовках. Один из них, чернявый, громко засмеявшись, спросил:

— Уезжаешь, служивый? Не плачь, девушка! Он вернется! Вернется!..

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте ваши отзывы о содержании книги, а также пожелания автору и издательству.

Пишите по адресу: Москва, А-55, Сущевская ул., дом 21, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», массовый отдел.

Полухин Юрий Дмитриевич

ОМУТ

Редакторы *И. Колесников,*
Е. Любушкина

Рисунки *Е. Гаврилкевича*
Оформление *А. Константинова*
Худож. редактор *К. Аркуша*
Техн. редактор *М. Шленская*

А08111. Подп. к печ. 21/X 1960 г.
Бум. 84×108 1/32. Печ. л. 3,5(5,74).
Уч.-изд. л. 5,4. Тираж 115 000 экз.
Заказ 1714. Цена 16 коп.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-55, Сущевская, 21.

В 1960 году

в издательстве «Молодая гвардия»

ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Петр Батурин, **Нет преград дерзновенным.** 272 стр., цена 5 р. 35 к.

Ю. Полухин, **Линия напряжения.** 208 стр., цена 2 р. 95 к.

В. Чивилихин, **Серебряные рельсы.** 208 стр., цена 3 р. 20 к.

Ю. Корольков, **Через сорок смертей.** 288 стр., цена 6 р. 65 к.

А. Першин, **Побеждает тот, кто прав.** 160 стр., цена 2 р. 35 к.

В. Орлов. **Дорога длиною в семь сантиметров.** 128 стр., цена 1 р. 75 к.